

231

ГРАНИ

GRANI

ГРАНИ

231

2009

2009

Juli – September

ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года
Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия:
Алла Ависова, **США**
Виталий Амурский, **Франция**
Белла Ахмадулина, **Россия**
Ирина Басова, **Франция**
Тамара Жирмунская, **Германия**
Виктор Кузнецов, **Россия**
Екатерина Труш, **США**

Москва–Париж–Берлин
Сан-Франциско

Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

Год LXIV

№ 231

2009

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Мы – поколение унесённых ветром...» 5

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь ЧУБАЙС.

Великая Отечественная.

Когда мы избавимся от ложных мифов,
когда напишем свою историю?

6

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Татьяна НЕДЗВЕЦКАЯ.

«...Прозрачная слеза фонтана»

20

Александр КАРАМЗИН.

Страницы «Послужного списка»

31

Виктор ДЗАНСОЛОВ.

«Под небом стран, давно оставленных богами...»

90

Борис КРЯЧКО.

На старости лет

108

Владимир НИКОЛАЕВ.

Тайны придворной летописи.

Документальная повесть. Продолжение

125

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Наталья АРБУЗОВА.
Сияющий столп. Четыре котофея 156

Александр СЕЛИССКИЙ.
Шлеп, Мурка и миска с молоком 173

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Фридрих ХИТЦЕР.
Маленький кинжал в кожаном чехле 185

Тамара ЖИРМУНСКАЯ.
«Ты», которое стремится к «Вы» 191

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Дмитрий УРУШЕВ.
«И не молчат колокола...» 202

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр РЕВИЧ.
Седое с детства поколение 211

Станислав АЙДИНЯН.
Под крылом пепельного ангела 225

Коротко об авторах 231

Обложка художника Н. Мишаткина

*Эмблема – «Парус»
Художник И. Иогансон*

***Мы – поколение унесённых ветром.
Куда ни кинь, разлуки и распад.
Мир не в себе, и только Небу ведом
Всех передряг конечный результат...***

Тамара Жирмунская

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь Чубайс

**Великая Отечественная.
Когда мы избавимся от ложных мифов,
когда напишем свою историю?**

*Надо еще подумать,
для каких целей в сороковых годах
Господь обделил нас поражением.
Венедикт Ерофеев*

Почему у нас нет науки об обществе.

В Советском Союзе независимая социальная теория существовать не могла, картину реальности формировала не наука, а комидеология. Каждый ученый обязан был вписывать полученные результаты в железобетонные тиски ленинизма, тем самым, обесмысливая и обесценивая все свои исследования. Конечно, были отдельные смельчаки – такие как А. Авторханов, М. Восленский, А. Сахаров, А. Амальрик, но их работы в СССР не публиковались, а авторов либо подвергали репрессиям, либо высылали из страны.

Почти два десятилетия прошедшие после падения Союза также не привели к распространению новых теорий, социально-гуманитарные факультеты отечественных вузов, гуманитарные институты Российской Академии Наук работают, в основном, впустую. Нынче вряд ли кто тоскует по

утрате «единственно верного, вечно живого, революционного учения». Но обходиться без всякого объяснения того, что же с нами случилось в XX веке, без понимания, когда произошла катастрофа – при распаде СССР или при его образовании – значит идти по пути нового издания прежних ошибок.

Между тем, настоящая социальная наука нынешним властям совершенно не нужна. Почему? Да потому, что объективные научные исследования обнаружат сомнительность реализуемых политических проектов и неизбежно поставят вопрос об ответственности за прошлое и настоящее. Неудивительно, что «фундаментальные основы» советской мифологии искусственно сохраняются, а удушливое дыхание неосталинизма ощущается все острее.

Тем не менее, отдельные исследователи, свободные от мертвых стереотипов, появились и у нас. К тому же теперь слышны голоса тех, кого в советское время жестко приглушали. Два – три десятка ученых, работающих всерьез, основательно, получающих принципиально новые, не меняющиеся от съезда к съезду и от президента к президенту результаты, в России все-таки есть.

Есть они и в области истории, что позволяет, наконец, по-новому взглянуть на комплекс событий, связанных с Великой Отечественной войной. Подчеркну – застарелые мифы о войне являются едва ли не последней теоретической опорой нынешних сталинистов.

Но исследования и публикации таких авторов как Б. Соколов, Г. Попов, Л. Радченко и В. Семененко, Б. Пушкарев, Ю. Цурганов, А. Блюм, Ю. Фельштинский и других позволяют сказать – дольше полувека длившаяся ночь заканчивается.

Каким полководцем был Иосиф Сталин.

Невозможно говорить о полководческих заслугах Сталина, если знать, что, практически, во всех битвах Великой Отечественной, с начала и до конца – значительный численный

перевес и в личном составе и в применяемой технике был на стороне Красной Армии.

Например, только за один сорок второй год советская промышленность произвела танков больше, чем Германия за период с сентября тридцать девятого по апрель сорок пятого года. К началу войны в западных военных округах базировалось двести сорок семь дивизий. Их состав более чем на полмиллиона человек превосходил численность тех, кто стоял на другом берегу Буга и Прута. При этом Сталин обладал огромным мобилизационным резервом, который ставился под ружье за одну неделю.

К моменту нападения гитлеровцев советские Военно-воздушные силы располагали двадцатью тремя тысячами самолетов, на вооружении вермахта имелось десять с половиной тысяч машин, причем против нас было брошено около двух тысяч единиц боевой техники. Красная Армия сохраняла перевес в личном составе и все годы войны и в победном сорок пятом тоже. Даже девятьсотдневную блокаду Ленинграда сдерживало значительно больше войск, чем ее осуществляло.

А что такое Сталинградская битва? Это борьба трех наших фронтов – **шести армий** – против **двух армий** (Шестой полевой и Четвертой танковой) противника.

В январе сорок третьего года сражавшийся на волжском берегу, генерал Еременко заявил: «Жуковское оперативное искусство – это превосходство в силах в пять-шесть раз»*.

Ключевой показатель успешности того или иного военачальника – это, конечно же, цена победы – размеры понесенных потерь. В этом контексте приведу две цитаты из книги Бориса Соколова**. «...Безвозвратные потери Красной Армии превосходят безвозвратные потери германских вооруженных сил примерно в 10,3 раза. Если же учесть потери германских

* См. Радченко, Семененко «Войны забытое похмелье», Харьков, 2002, с. 379.

** «Красный колосс», М, 2007.

союзников на Восточном фронте, то соотношение уменьшится до 8:1». (с. 256). И еще. «Общие же потери – и военного, и гражданского населения СССР – я оцениваю в 43,3 млн. человек.» (Там же, с. 263.).

Эти потери превышают потери всех государств воевавших как против СССР, так и в союзе с СССР плюс все потери России в войнах за всю ее историю вместе взятые! (Потери Китая во Второй мировой войне эксперты оценить не могут, поэтому они в данном случае не учитываются).

Среди независимых исследователей, конечно же, существует определенная дискуссия, и не все соглашаются с Соколовым. По подсчетам Бориса Пушкарева за победу в войне наш народ заплатил примерно двадцать восемь миллионов жизней. Но и принимая результаты Пушкарева, соотношение погибших (наши – противник) будет более пяти к одному в их пользу!

Вопрос, на который обществу до сих пор не дан ответ – почему Красная Армия отступала до Москвы?

Этот вопрос неоднократно звучал в старых фильмах, статьях публицистов, в книгах историков. Как могло произойти, что вместо обещанных «малой кровью, могучим ударом» – наша армия отступала до пригородов столицы? И не с таким же потрясением часть общества столкнулась в девяносто первом году, когда обещанный коммунизм неожиданно превратился в распад СССР?

Замолчать проблему было невозможно, зато ответ предлагался из сферы мифологии – неожиданность нападения, на середину июня нашу армию успели лишь наполовину перевооружить, «превосходящие силы противника» (об этом уже сказано) и так далее. Теперь, когда новые исследователи предлагают действительно убедительный ответ, сам вопрос перестает звучать, что косвенно подтверждает справедливость новых подходов.

Вот что пишет по этому поводу историк Кирилл Александров*: «За первые четыре месяца войны вермахт разгромил двадцать шесть советских армий, при том, что Сталин имел лишь в западных областях почти шестикратное количественное преимущество по бронетехнике, почти шестикратное количественное по авиации и полуторное по артиллерии...»

Поскольку настоящая история СССР до сих пор не написана, не каждый современный читатель представляет социальный портрет красноармейца того времени. А ведь это были те самые люди, чьи родители, братья, дети, да и они сами – в целом – десятки миллионов человек прошли через ужасы красного террора, ликвидации сословий, надругательства над православием и другими конфессиями, гражданской войны, большого террора, голодомора, раскулачивания, расказачивания, депортаций, ГУЛАГа...

*Неудивительно, что во многих местах немцев встречали с цветами. В них видели цивилизованных европейцев, **освободителей от колхозов и сталинщины.*** Многие советские граждане решили, что происходит падение «коммунистического» режима, который в действительности рухнул лишь в девяносто первом. К концу сорок первого года в плену оказалось 3,8 миллиона военнослужащих – почти семьдесят процентов личного состава наших Вооруженных Сил!

Лживость коммунистической идеологии, сказки про то, что мы «самые передовые и прогрессивные», что «впереди планеты всей» имели обратный эффект. Понимание несуразности этих мифов порождало у советских людей комплекс неполноценности, и на иностранцев они смотрели снизу вверх. Собственно и теперь, когда, отбросив устаревшее комвранье, нам не возвращают подлинные российские ценности и не дают исцелиться, а предлагают вообще **отказаться от всякой идеи** и идентичности, комплекс неполноценности не исчезает.

* См. сборник «Вторая мировая: иной взгляд» М., Посев, 2008, с. 267–273.

Неудивительно, что и в старых, и в новых фильмах о войне фашисты, не в пример нашим, обычно предстают прямотаки в изящной военной форме, в сияющих сапогах, а вот на красноармейцах, одежда, как правило, оборвана и вымазана, будто две армии воюют в двух разных пространствах.

А почему к концу сорок первого года произошел поворот и смена настроений? Да потому, что **Гитлер не оставлял России никакого шанса, он не собирался ее десоветизировать, он хотел ее уничтожить.** Сталин крайне опасался создания на оккупированной территории альтернативного русского правительства, но это и не входило в планы фюрера. Сотни тысяч ушедших в плен умерли с голода. (Советское правительство предусмотрительно не подписало международную конвенцию о правах военнопленных.)

Узнав и осознав подлинную картину разворачивавшейся катастрофы, пройдя через тяжелейшие испытания, народ понял – выбора не осталось. Тогда-то и закончилось отступление и началось движение на Запад.

Еще один «окаменевший» советский миф связан с постоянным замалчиванием и принижением роли второго фронта.

По сей день российские средства массовой информации поддерживают иллюзию, будто Сталин вел войну в одиночку, получив поддержку союзников лишь на заключительном ее этапе.

Приведу в этой связи несколько аргументов, которые переубедили меня самого, но для начала напомню, что войну фашистской Германии Англия объявила не в сорок четвертом, а третьего сентября тридцать девятого года! (США вступили в войну в декабре сорок первого года).

До сих пор далеко не всем известно, что из четырех ключевых сражений войны – Московского, Сталинградского, Курско-Белгородского и Берлинского, три (кроме Московского) проходили при прямой огневой поддержке союзников.

Восьмого ноября сорок второго года, по согласованию с Кремлем, началась англо-американская операция в Северной Африке, что потребовало от Гитлера перераспределения сил. Неудивительно, что спустя полторы недели битва на Волге перешла в наступательную фазу. Пятого июля сорок третьего года развернулось Курское сражение, а через четыре дня, – сроки опять-таки были оговорены с Москвой, – англо-американское командование произвело высадку на Сицилии тридцати дивизий. Возможную потерю Италии Гитлер счел более опасной, чем поражение под Курском и Белгородом, поэтому две боевые дивизии были немедленно переброшены с Курского выступа на Апеннины.

Что же касается продовольственной помощи США, она также оказалась очень весомой. Предоставленного нам Америкой по ленд-лизу продовольствия хватило бы для пропитания десятиmillionной армии на протяжении более пяти лет!

Убежден, что только несостоявшийся человек, как и ущербное государство, любят преувеличивать собственные заслуги. Сильный народ становится еще сильнее, если готов честно и по достоинству оценить оказанную ему помощь, тем более помощь, оказанную в критический момент его истории.

Власова, Бандеру, национальные движения военного времени нельзя считать фашистскими.

Этих людей по сей день объявляют подручными нацистов, не подлежащими реабилитации. Приведу два заголовка из одного номера центральной российской газеты: «Зачем украинские власти пытаются обелить бандеровцев?» и «ОУН сотрудничала с нацистами ...».

Если принять логику газеты, надо допустить, что в ближайшем номере выйдет статья – «Рузвельт и Черчилль **сотрудничали** со Сталиным, значит они большевики»...

Итак, давайте разбираться. Еще Владимир Высоцкий подметил – «И людей будем долго делить на своих и врагов»,

правда, он не уточнил, когда наше мышление перестанет быть двухмерным. Похоже, пришло время взглянуть на прошлое иначе.

Напомню, что во время войны с Наполеоном (Первая Отечественная) и в Первой мировой (Вторая Отечественная) никаких русских формирований на стороне противника не было.

Другой расклад сил образовался в Третей Отечественной. В ней участвовало не две силы – Гитлер и Сталин со своими союзниками, а три. *Определенную роль в ней играли антисталинские, антибольшевицкие национальные движения, имевшие к гитлеризму косвенное отношение.*

Третья сила сформировалась в России, Белоруссии, на Украине, на Кавказе, в Балтии... Но в условиях войны бороться со Сталиным можно было лишь взаимодействуя с теми, кто с ним уже воевал, то есть с фашистами.

Уточню, что это структурирование тоже не совсем строгое, ибо, например, Армия Крайова, боровшаяся за независимость Польши, была вынуждена воевать на два фронта – сначала с фашистами, а потом – с Советами, за что и подверглась разгрому со стороны СМЕРШа и НКВД.

Описывая перипетии войны, наши средства массовой информации, готовы объявить коричневым всякого, кто не принимал **сталинизм**, при этом они не задумываются над античеловеческой природой самого сталинизма.

Напомню несколько вопиющих фактов, которые политики предпочитают не вспоминать и не комментировать.

Как известно, до тридцать девятого года советская пресса относилась к Гитлеру крайне враждебно, а после заключения мирного договора, Сталин назвал фюрера своим «боевым другом». Понятно, что принципиальному человеку согласиться с такими шараханьями было сложно, антифашистские настроения в некоторых слоях советского общества сохранялись, а иногда и проявлялись публично.

Поэтому, людей, допуславших **после августа тридцать девятого года** антигитлеровские высказывания, подвергали

репрессиям и отправляли в ГУЛАГ, где одних держали до конца сорок первого, а других и более длительное время! Печальная участь постигла немецких коммунистов, которые после тридцать третьего года пытались добраться до страны своей мечты – Советского Союза. Несколько тысяч человек сюда, действительно, доехало и получило убежище. Но после подписания договора Молотов – Риббентроп многие были интернированы и возвращены на историческую родину...

Откровенное идеологическое мракобесие можно встретить в высказываниях Сталина накануне и в начале войны. Например, отмечая в сорок первом году годовщину Октября, вождь заявил «По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме»*. Высказываясь таким образом, Сталин подтолкнул тысячи русских людей к сдаче в плен!

Однако, введя несколько позже ордена Суворова, Кутузова, Нахимова, Ушакова, Хмельницкого, восстановив погоны, георгиевскую ленточку, введенное Петром понятие Гвардия, Сталин опирался на ценности и символы нашей великой Родины, которую походя оскорбил.

Заниматься сегодня десталинизацией – значит идти против официальной линии. Потому заказные политологи не пишут о том, о чем не надо, зато охотно клеймят Бандеру и Власова.

Однако, вернемся к теме национальных движений военного времени. Говоря о Власове и Бандере, надо иметь в виду, что за свои проукраинские и прорусские заявления они, независимо друг от друга, просидели в Германии по полтора года под арестом. Гитлер не допускал создания русских национальных военных формирований. Создать Русскую Освободительную Армию чудом удалось к концу сорок четвертого года, когда исход войны уже был предрешен. Причем, освобождавшие Прагу власовцы в бой с фашистами шли не со свастикой, а с российским триколором.

* И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947, с. 28.

Надо признать, что власовское движение стало еще одним проявлением гражданской войны, к которой привел страну большевизм. Как показала история, власовцы были обречены, а их действия нанесли определенный урон Красной Армии, что не может быть забыто. Не стоит переоценивать и личность самого генерала.

Но подчеркнем – огромная доля ответственности за происшедшее лежит на советских руководителях, которые, чтобы удержать власть, разрывали и стравливали народ с первого до последнего момента своего существования – в семнадцатом году, в Гражданскую, в Отечественную, а под занавес, в августе девяносто первого, они, дрожащими от страха руками, вывели против безоружных москвичей танки и БТРы...

Время, опыт, человеческая мудрость лечат раны, позволяют избавиться от ошибочных решений и идеологических ярлыков. Старшее поколение помнит, что Карла Маннергейма, командовавшего финской армией во время советско-финляндской войны и в сорок первом-сорок четвертом годах у нас называли фашистом, но в две тысячи первом году, в ходе официального визита в Финляндию, Владимир Путин возложил венок на его могилу.

Генерала Владислава Андерса Сталин вытащил из подвалов Лубянки, чтобы тот сформировал на территории СССР польскую армию, но никому не приходит в голову обвинить Андерса в большевизме.

В брежневские времена советские газеты называли Александра Солженицына «литературным власовцем».

Мы знаем, что во время Отечественной войны Русская Зарубежная православная церковь, взаимодействуя с оккупационными властями, восстанавливала храмы и богослужение на занятой фашистами территории. Это не помешало ей теперь объединиться с Русской Православной Церковью.

Власовцы не были фашистами, фашисты появились у нас не во время войны, а в конце советской эпохи. Неудивительно, что нынешние коричневые не проявляют никакого интереса ни к имени Власова, ни к его идейному наследию.

Во всем этом нам необходимо разобраться, сделать правильные оценки, чтобы жить в согласии с собой. Новое понимание необходимо и для того, чтобы выстраивать нормальные отношения с соседями.

Обретя национальную независимость, страны Центральной Европы, Балтии, СНГ конечно же будут вспоминать с благодарностью тех, кто за эту независимость боролся в годы Второй мировой войны и после нее. Если мы не хотим жить по принципу «весь мир идет не в ногу, а мы в ногу», нам следует это понять и признать, исключив таким образом *сами основы* конфликтов с бывшими соотечественниками.

Бандеровцы после войны; кто разрушил сталинизм?

Затронув тему национальных движений, сделаю еще одно полуотступление а, может быть, правильное сказать, продолжу основной сюжет. Раскрою причины некоторых событий, до сих пор не объясненных или неправильно объясненных нашими горе-обществоведами.

Советские и постсоветские теоретики не задаются вопросом – почему кровавого Сталина сменил либеральный Хрущев? В лучшем случае они ссылаются на решения XX партсъезда.

Но в действительности, в реальной истории прошедшего века неизвестны случаи добровольной **самолиберализации** тоталитарной системы, власть такого типа прогибается лишь под мощным напором извне или огромным давлением изнутри. (Например, Ленинский переход к НЭПу – это ответ на Кронштадское восстание.)

Хрущев, подписавший в годы массовых репрессий на Украине и в Москве сотни документов, лишавших жизни тысячи людей, тоже не мог измениться «ни с того, ни с сего».

Так почему же началась оттепель? Историки знают, что в пятьдесят третьем-пятьдесят четвертом годах, в ГУЛАГе – в

Воркуте, Норильске и Кенгире прошли три мощнейших восстания, в которых участвовали десятки тысяч заключенных.

Я присутствовал на заседаниях небольшой конференции проходившей в Москве в память о пятидесятилетии Кенгирских событий, на которую съехалось десятка полтора участников. Но даже сами протестанты не догадывались, к каким результатам привели их действия.

Несколько раньше, в октябре восемьдесят девятого года в Москве проходила первая конференция общества «Мемориал», где выступал руководитель воркутинского бунта Игорь Михайлович Доброштан. Он рассказывал, как его и его штаб самолетом возили в Москву на переговоры с членами президиума ЦК. Условия, выдвинутые бунтарями, обсуждались на высшем номенклатурном уровне.

Последние годы жизни Игорь Михайлович провел на Украине, в Днепропетровске его должны знать и помнить.

Анализируя ситуацию окончательно вышедшую из-под контроля компартии к лету пятьдесят третьего года, Хрущев пришел к выводу: ГУЛАГ необходимо срочно распустить, иначе взбунтовавшихся людей не остановят ни вохры, ни тайга, ни кремлевские стены.

С этого времени, заручившись поддержкой части высших аппаратчиков и избавляясь от несговорчивых, первый секретарь решил проводить курс на либерализацию, называемую «хрущевской оттепелью». При этом сам Никита Сергеевич не собирался объяснять современникам и потомкам подлинные мотивы своих решений.

Более того, всю славу десталинизации, добровольного признания собственных ошибок и *«возвращения к ленинским нормам»* советское руководство присвоило самому себе. Но не должны же мы вечно держаться за этот лживый миф! И в тоталитарном СССР историю творил народ, а не партноменклатура.

В описанную здесь цепь событий необходимо добавить еще одно звено. Ответим на вопрос – кто поднимал восстания, кто был дрожжами гулаговских бунтов? Сидевшие там

с довоенных времен большевики были уже надломлены. Но в начале пятидесятых за решеткой оказалась молодежь, те самые бандеровцы, которых эмгешники хватили на западе Украины, и которые уцелели в кровавых стычках со спецвойсками.

Эти ребята сохранили и боевой дух, и военную выучку, о чем пишет Александр Солженицын в своем знаменитом «Архипелаге».

По логике вещей, в актив могли также входить молодые представители национальных движений Балтии, Белоруссии и так далее, но таких свидетельств у меня нет. Исследовательская работа здесь еще предстоит.

Так что за крах сталинской системы мы должны благодарить тех самых бандеровцев и узников ГУЛАГа, которым страна до сих пор не поставила памятник. У нас есть день памяти и скорби – день голодомора, но в недавней истории есть и день народного мужества и гордости – вечная слава героям воркутинцам, норильцам, кенгирцам!

Раскрыв роль и значение в нашем недавнем прошлом гулаговских бунтов, нетрудно восстановить внутреннюю логику иных событий и политических решений того времени.

Почему в середине пятидесятых в стране началось массовое жилищное строительство, появились хрущевские пятиэтажки – да потому, что миллионы людей возвращались из лагерей и им надо было где-то жить. Массовые репрессии сменились массовым жилищным строительством.

Почему началось освоение целинных и залежных земель, два миллиона молодых и наиболее активных людей было брошено в полунепригодные для земледелия казахские степи (а ведь было в стране и черноземье и даже субтропики!)

Это не экономический, а, прежде всего, политический проект. Целина, в первую очередь, была механизмом косвенных репрессий, выталкиванием в тяжелейшие бытовые условия, в глухомань самой активной части общества.

К пятьдесят шестому году были отпущены на родину последние немецкие военнопленные, а в пятьдесят пятом

СССР неожиданно подписал с открытой некоммунистической страной – Австрией – договор о ее нейтралитете и вывел свои войска на родину (чтоб не разбежались). Период насилия и террора как главная стратегии советского государства, себя исчерпал, начинался переход к новой его стратегии...

В небольшой статье невозможно перечислить проблемы, которые вообще не называются, остаются нерешенными или решаются сомнительно.

До сих пор неясно – планировал ли Сталин начинать войну первым, или нет, как вели себя наши военные на занятых ими немецких территориях и почему это происходило – мы не разобрались. *Почему* наши ветераны живут несопоставимо хуже, чем ветераны-побежденные; наши гуманитарии не задаются вопросом – почему поверженная и разделенная Германия, спустя сорок пять лет, воссоединилась, а победивший СССР распался и больше не существует..

Участники войны прошли через тяжелейшие испытания, но они спасли государство, в котором отвечать на подобные вопросы, да и задавать их было слишком сложно. Они не передали нам свой опыт! Значит, их долг перешел к следующему поколению, отвечать надо теперь.

Девятое мая было и будет великой датой. Но не упрощаем ли мы событие, говоря о победе, ведь такую цену – двадцать восемь миллионов жизней – **никто и никогда** в истории не платил.

День памяти и одоления может перейти в **ДЕНЬ ПОБЕДЫ**, если мы честно ответим на все вопросы из XX века и сделаем должные выводы.

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Татьяна Недзвецкая

«...Прозрачная слеза фонтана»

Пароль мироздания

*Соитие крестового листа
С травой земной, такой иссиня-чёрной.
Оранжевая яркая звезда
На трауре небес ногой зачёркнута.*

*То лист прощальный, мой последний взгляд
На шёпот облетевшего квартала,
Где мёртвые дома теснятся в ряд,
Где бабушка салфетки вышивала.*

*И мой последний, мой истошный крик,
Как будто я вселенную рожала.
А наш больной громадный материк
Качаясь, в океаны погружался.*

*Всё началось с крестового листа –
Последнего пароля мироздания.
И первого Вселенского Креста,
Как всплеска уходящего сознания.*

Спас

*В монастырском саду пахнут дикие яблоки Спасом.
Пред иконой свечу, помолившись, монашка зажгла.
На углу магазина торгует лоточница квасом
И на бочку её тень стены монастырской легла.*

*За тяжёлую дверь я вхожу под прохладные своды,
Покупаю свечу, суетливо тряся медяком.
«Николай-чудотворец, – молю я, – пошли мне свободу!
Разведи наши судьбы с нелепым моим чудяком».*

*Я накрою на стол, в миске яблоки выложу горкой,
В плошке глиняной мёд торопливо придвину к тебе.
Не признаешься ты, что вкус яблок мучительно горький,
И несладок мой мёд в нашей призрачно-терпкой гульбе.*

Полемика с А. С. Пушкиным

*Прости мне, ханская жена,
Невольную мою усмешку.
У касс, с билетами помешкав,
Брожу по комнатам одна
Пустого пыльного гарема –
Что было роскошью вчера,
То стало тленом. Вечера
С кем проводила ты, Заремба?
Когда у равнодушной полки
Любовь выпрашивал Гирей,
Смиренно стоя у дверей,
Не смея прикоснуться. Сколько
Ты выплакала слёз? Как рана
Твоей истерзанной души
Теперь в забвеньи и глуши
Прозрачная слеза фонтана.*

Портрет

Марине Цветаевой

*Киноварь и лазурь.
Глаза зажмурю –
Картины чудятся.
Картинами брежу я, не стихами.
Затиhaю
Перед холстом нетронутым, белым
С отчаянной смелостью
Рискую провести первую линию.
В мою судьбу клином
Врывается невнятный этот набросок –
Невысокая
Женица с модной стрижкою,
Стихами бредившая там, в Париже.
Одинокaя в одиночестве,
В инокестве своём.
Паломничестве
По чужим странам.
Так бродим и мы
В поисках чужого ада,
Раня сердце своё отрешеньем от Родины.
Знала ли она, что сгубит его возвратом?*

Сельское кладбище

*Над вымокшим кладбищенским крестом
Лепечут ветки, что пропало лето.
И каждым жёлтым отмершим листом
Октябрь своё накладывает вето.*

*Здесь шум гульбы и чужд и незнаком.
Могилы жмутся в круг озябшим стадом.
И я стою, печалюсь, у ограды,
Не вспоминая, в общем, ни о чём.*

*Не вспоминая, в общем, ни о ком,
Я предала анафеме, что было.
Под этим старым выцветшим крестом
Я прошлое своё похоронила.*

*О, Господи! Отринь от суеты!
Покой и просветление и силу
Дай мне сейчас взамен того, что было,
От бед отринь! Будь милостив хоть Ты!*

*Будь добр хоть Ты... А им я всем простила.
И в окончанье тех печальных лет
Пролей свой благолепный тихий свет
На прошлое, что я похоронила.*

Осень в деревне

*Странная эта, какая-то грустная осень.
Куцые лужи, как высохшей краски лепёшки.
И сиротливые ветви причудливо скрюченных сосен
Смотрят, как слепнут у ветхого дома окошки.*

*Сирая Русь напрягает последние силы,
Думая выжить до пахоты нового хлеба.
Тащит на пашию из хлева навоз мерин сивый,
Пар с влажных губ устремляется в серое небо.*

*И от натуги бока нервной дрожью прошиты.
Шлёпает мягко губою своё отработавший мерин.
Редко ему доставалось наестся досыта,
Трудно ему в своё счастье лошачье поверить.*

*Морду угрюмо поводит на тощие рёбра
Рыжей коровы – ровесницы этого века.
Нет, не дожить до весны – лён на поле не собран,
Сено сгнило. И нигде нет следов человека.*

*Дом развалился, торчит из-под крыши солома,
Баня сгорела, и выбиты стёкла в сарае.
Старой петлёй отвалившийся ставень у дома
Плачет под песню дождя о потерянном рае.*

* * *

*И опять грустно-жёлтого цвета
Где-то тихо печаль затаилась.
Мне твоя ненадёжная милость –
Паутинка от бабьего лета,*

*Что щекочет под платьем колени.
И озябшая робкая жалость
Вдруг твоею щекою прижалась
В смуглых сумерках цвета сирени.*

*Нитка пурпурных бус из рябины
На не свадебном сморщилась платье.
Мы с тобою за прошлое платим,
Никого не зовя на крестины.*

*Листья серые корчились грудой,
На осеннем костре умирали.
Мы с тобою достойно играли –
Не печалься, я плакать не буду.*

*Отлопочут дождём в изобилии
И октябрь, и ноябрь – лиходеи.
Мы с тобой ничего не хотели.
Мы с тобой никогда не любили.*

* * *

*Глаз зелёный – переход
В измерение иное!
Страшно чувствовать спиною,
Что сейчас пойду на взлёт.*

*Что вот-вот – и на прорыв
Притяжения земного.
Социальные оковы
Прочь! Вселенную открыв,*

*Что мне дрязги, суета,
Суесловья пустобрёхов!
Проходимцы рвут по крохам
Плащ с распятого Христа!*

*Ах, да что я о земном!
Мне ль о суетном под небом –
Средь нектара жаждать хлеба –
В измерении ином!*

Уличным певцам в Париже

*Возвращаюсь домой я к московской нелётной погоде,
Оставляя Париж, чтобы вспомнить отечества дым.
Здесь тоска по России, я знаю, давно уж не в моде,
И французы охотнее мелочь бросают своим.*

*Возвращаюсь назад, сколько б не было песен не спето.
И не мне вас винить, и не вам толковать обо мне.
И не надо вопросов, нам всем не хватает ответов –
Да найдёт ли Россия когда-нибудь броды в огне?*

*Никому не нужны наши песни с обидой по-русски!
На гитарной струне замерзает непонятый стих.
И в дешёвых кафе на Монмартре поют по-французски.
Возвращайтесь домой – проще деньги просить у своих.*

*Возвращайтесь назад, кто когда-то был брошен Россией,
Хоть простить нелегко все обиды бывает подчас.
Я прошу за неё, и за всех, кого вы не просили –
Возвращайтесь назад! Что такое Россия без вас!*

Зима в Швеции

*Между стволами почерневших сосен
Чужие крыши с красной черепицей –
Не то – зима, не то вернулась осень
И снег собрала грязною тряпичей.*

*В углах у дома он ещё томится,
Приник к земле лепёхой серо-синей –
Так, словно бы во мгле чужие лица
Рыдают надо судьбой моей России.*

* * *

*Я блуждала в потёмках – искала приметы ушедшего лета.
В тусклых сморщенных листьях опавшей осины – упрёк сентября.
Мы теряем любимых – находим не очень любимых – примета,
Что мосты позади сожжены. И уже перегоны горят.*

Благодарение

*Благодарю, что я жива, страна.
Спасибо, что в пороках закалила.
Нужна была недюжинная сила,
Чтоб выжить в те шальные времена.*

*Спасибо! В замороженной судьбе
Моей всегда я ощущала руку
Твою стальную. Ты, боясь разлуки,
Нас крепко соблюла, хвала тебе!*

*Осанна, благородный поводырь!
Когда бы без твоих очей прозрели!
Блюли мы чувство долга с колыбели,
Партдоки зачитавшие до дыр.*

*А нынче на заплёванном снегу
Игрушка чьей-то выброшенной ёлки –
Рождественского праздника осколки,
Раздавленные кем-то на бегу.*

*Какого же наследья мы потомки,
Заброшенные пасынки страны?
От лет застоя жалкие обломки,
Без ощущения собственной вины.*

Александр КАРАМЗИН

Страницы «Послужного списка»*

*«В году буйных, мрачных дней...»***

Рукопись эта уникальна. Она принадлежит перу Александра Александровича Карамзина, правнука гордости нашей российской Николая Михайловича. Передал ее мне Алексей Александрович Карамзин во время моей первой поездки в Америку, перед вылетом из Сан-Франциско, вместе с другими отцовскими архивами, считая, что место им – в России.

Уже дома, в Москве, среди других, на мой взгляд, бесценных архивных материалов, я обнаружила письмо Александра Карамзина, датированное 12 ноября 1961 года, к другу – «однокашнику» Якову Ельшину. Вот это письмо.

«...Был рад получить Твое милое письмо. Так и пахнуло воздухом Средней площадки и Манежа славной Школы. Приятно также, что мы «одноискусстники».

О Тебе слышал несколько раз от разных лиц. Знал, что в Белом движении Ты был у Миллера на Архангельском фронте.

* «Страницы» публикуются в хронологическом порядке, но с июля 1914 по ноябрь 1916 в архиве наблюдается пробел.

** Слова из «Молитвы» С.С. Бехтеева, переписанные рукой Великой Княжны Ольги Николаевны. Стихотворение обнаружено в доме Ипатьева среди книг убитых детей Государя после вступления в Екатеринбург войск адмирала А.В. Колчака. – Т.Ж.

Считаю необходимым сохранить стиль и орфографию авторского оригинала. – Т.Ж.

Наверное, слышал от него, что я – личный адъютант генерала с первых дней революции, когда он командовал в Румынии Двадцать шестым армейским корпусом.

Мы с Алашеевым оба Александрийцы. Оба вышли в Китай-Маньчжурию, но он уехал в Южную армию. По сведениям от очевидца, считал его убитым в Константинополе на улице. Но через тридцать лет, будучи в лагере эвакуированных на Филиппинах, узнал, что он в Нью-Йорке. Мы немедленно списались и он по а ф и д е в и т у вытисал меня.

Приехал я в Сан-Франциско в декабре пятидесятого. Се-режа собирался приехать повидаться, но неожиданно умер – так мы и не встретились. В Нью-Йорке еще оказался Лит-таур, Сумец и Султан Гирей...

...С выходом в Китай сосредоточился на искусстве, жил в Тяньцзине, имел декоративное дело с мебельной мастерской, писал картины и театральные декорации. Дело шло хорошо, но в последний год лишился всех денег в пару дней – девальвация.

Просидев два года в лагере эвакуированных, попал сюда, но работать по специальности не смог, главным образом, из-за незнания языка и заградительных рогаток, которые Тебе известны. Десять лет отмахал ж а н и т р о м. Купил дом и выплатив его, ушел в этом году на с е к ю р и т е, пенсию.

Все эти годы много писал и торговал своими картинами и на заказ. Написал целиком Церковь и Иконы мои есть во всех Церквях района Сан-Франциска. То, что ты видел на выставке – мое главное направление...

*...Вообще, с в о е г о в жизни создал не менее д е с я т и тысяч полотен»...**

Смею добавить к этому письму, которым почти все сказано главное о судьбе Александра Карамзина в эмиграции им самим, что в Шанхае до сих пор стоит Собор, расписанный им, где служил архиепископ Иоанн (Максимович), которого православный мир зовет Шанхайским – один из величайших Святых XX века.

*Письмо дается в сокращении – Т.Ж.

А на острове Тубобао, давшим приют тысячам русским беженцам в конце сороковых, он создал главную Икону своей жизни – Икону Христа Спасителя, как сам признался однажды, «в память выхода из Китая», находящуюся сегодня в Кафедральном Соборе Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости Сан-Франциска. В Национальном Музее Манилы можно познакомиться с русским альбомом, каждая страница которого с благодарственными словами филиппинцам украшена карамзинским рисунком «в русском стиле».

В Калифорнии созданы художником основные Иконы для Храма Всех Святых на Земле Русской Просиявших и Храма Воскресения Христова, прихожанином которого он был и о благолепии заботился до конца дней...

Однако сотни икон и живописных полотен находятся в частных руках и разбросаны по всему земному шару...

...Но не только иконографию и живопись оставил миру правнук великого Карамзина. Есть у него и другое наследство, не менее ценное – собранные документы и материалы к трилогии «Карамзины. Семейная Хроника», отрывок из которой и предлагаю вниманию читателей.

И последнее. Среди других имен в воспоминаниях, касающихся дней российского Апокалипсиса – распада Империи, выделяются, на мой взгляд, два: графа Ильи Леонидовича Татищева и генерала Евгения Карловича Миллера, панихида по которому отслужена совсем недавно в Нью-Йорке в день Усекновения главы Св. Иоанна Крестителя в синодальном Соборе и в парижском кафедральном Соборе Св. Александра Невского.

И тот и другой погибли от рук большевиков – Татищев расстрелян в Тобольской тюрьме за неделю до мученической кончины Августейшей Семьи, Миллер – в конце тридцатых в застенках Лубянки. Понадобились десятилетия, чтобы мы узнали обстоятельства гибели...

Посвящаю публикацию Их светлой памяти.

Татьяна Жилкина.

Вступление

...Передо мной тетрадь писчей бумаги, сшитая суровой ниткой и прошнурованная такую же через все листы, концы которой на последней странице скреплены сургучной печатью.

Когда-то белая бумага – она пожелтела, став оберточной. На сгибах тетрадь протерлась, а по углам обтрепалась. Изъяны заклеены восковой бумагой, но заплаты стали пронашиваться. От печати остались лишь островки сургуча, едва придержащие нитку, но на первой странице и заголовок и дата – тридцатое ноября семнадцатого года явно различимы.

Сегодня же на дворе шестьдесят второй. Следовательно, этой тетради исполнилось сорок пять лет...

Уж не так велик срок, чтобы изнасилась бумага, к тому же хорошего качества, но есть причины, оправдывающие обстоятельства. Одна дата чего стоит! Тут не только за это время бумага протерлась – целая Российская Империя с т е р л а с ь с лица земли.

То были дни, когда Верховный Главнокомандующий генерал Духонин был убит, а его должность стала достоянием прапорщика Крыленки, и миллионные армии русских солдат, защитников родины, став бандитствующими дезертирами, хлынув по домам, разлились по всем путям сообщений великой России, убийствами, грабежами, насилием и невероятной разнузданностью своей терроризировали все население.

Когда русский офицер, дворянин, был признан водворившейся большевицкой властью опаснейшим ее врагом и предан на издевательство солдатских банд – само появление на свет такого документа казалось явлением невероятным.

...Желая сохранить памятный документ от всеуничтожающего террора и принимая для этого все меры, «Послужной список» приходилось прятать в места, не всегда соответствующая назначению для хранения бумаг.

Первую зиму он пролежал между корой и стволом березового полена. Далее, на сорокапятилетнем пути от берегов

Волги до северо-американского берега Великого Океана, многое пришлось пережить этой тетради писчей бумаги, особенно в первые годы.

Всякое бывало – то за голенищем сапога, то зашитая между мехом и сукном полушубка, за подкладкой меховой шапки и между днищами чемодана и... всего уж и не припомню, где ей довелось побывать. Хорошо еще, что лиловая печать машинки, да полковой штемпель, приложенный рядом с сургучной печатью, остались ясно читаемыми.

Теперь, когда мне исполнилось шестьдесят девять лет, перечитывая узкие столбцы кратких рапортчиков, втиснутые в графленую форму, повещающие в нескольких словах с указанием дат о фактах, передо мной пробегает цветной фильм эпопей моей жизни, дней, отдаленных полувеком, со всеми переживаниями далекой молодости в таких подробностях, как будто все происходило вчера...

В своих воспоминаниях, озаглавливаемых «Послужной список Штабс-ротмистра Александрийского Ея Величества Императрицы Александры Федоровны гусарского полка Карамзина», являющегося одной из частей моего труда, имеющего общий заголовок «Карамзины. Семейная Хроника», я ставлю своей целью правдиво передать свою жизнь в окружении моих друзей, родных и людей, с которыми сталкивала меня судьба в дни мирной жизни России, Первой мировой Войны и революции, столь исключительного для государства Российского исторического переживания...

*День 7 декабря 1962 года
от Рождества Христова.
Сан-Франциско. США.*

I. «Молитвенно призываем на Святую Русь...»

Двадцать восьмого июня четырнадцатого года в Сараеве произошло убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его морганатической супруги Марии Хотек.

Сербское правительство выразило глубокое сочувствие Австро-Венгрии и официально заверило, что Сербия, как государство, совершенно неповинно в террористическом акте. В свою очередь Австро-Венгрия вручила сербскому правительству ноту-ультиматум, в которой содержалось требование дать в сорокавосемичасовой срок согласие на производство следствия по делу об убийстве с правом арестов лиц, коих найдет нужным, при полном подчинении Австрии всех сербских властей.

Того же числа, десятого июля, Сербия вручила ответную ноту, соглашаясь пойти на все унижительные условия, вплоть до всенародного покаяния за убийство, обещая никогда не касаться более сербского вопроса о Боснии и Герцоговине, – одного лишь прося у могущественной Австрии – не отнимать ее независимости.

В ответ был лишь отозван из Белграда своим правительством австрийский посланник...

Россия, сообщая с Англией, желая мирно изжить австро-сербский конфликт, угрожающей войной в Европе, призвала все европейские державы к мирной конференции. Это предложение Германия отвергла и все мирные пути, коими шла Россия и ее союзники, встречали отпор со стороны немецких государств, явно решившихся взяться за оружие.

Надо сказать, что слухи о возможной войне, по рассказам тех, кто находился рядом с Царской Семьей, не вызывали тревоги. В Петергофе, в Красном Селе состоялись даже празднества по случаю посещения английской и французской эскадр. Тревогу почувствовали лишь после того, как однажды после завтрака французский президент Раймон Пуанкаре отбыл на эскадру, которая тотчас снялась с якоря и взяла курс к берегам Франции...

Четырнадцатого июля австрийские войска подошли к сербской границе и начали обстрел и нападения на пограничные посты, несмотря на то, что Сербия со своей стороны продолжала не нарушать мирного положения.

Тогда-то, когда маленькой Сербии уже угрожало быть сметенной с лица земли, Российский Император дал следу-

ющую телеграмму на имя сербского королевича Александра, управляющего страной по болезни отца – короля Петра:

«Пока есть малейшая надежда избежать кровопролития – все наши усилия должны быть направлены к этой цели. Если же вопреки нашим самым искренним желаниям, Мы в этом не успеем, Ваше Высочество, можете быть уверены, что ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сербии».

Весть о войне в деревню грянула неожиданно.

...В день именин Владимира Николаевича Карамзина – пятнадцатого июля, в Козловке, как обычно, состоялся большой съезд гостей. Еще накануне приехали в имение полибинские – Сережа, Вася и Таня. Папа и мама, боясь утомительной поездки, остались дома, прислав поздравительное письмо.

С раняго утра, по холодку, то с одной, то с другой стороны большой столбовой дороги сворачивали в ворота и подкатывали к подъезду тройки. Гурьбой стоящие на крыльце хозяева и уже прибывшие, весело встречали гостей, вылезавших их экипажа целыми семьями. Крылечко оживлялось рукопожатиями, объятиями, шумными разговорами и молодым смехом.

Не успевал, делая круг к воротам, экипаж отъехать и затихнуть радостный голоса при встречи одних гостей, как из сада доносилось побрякивание бубенцов, и за густыми вязами поднимался клуб пыли, поднятый скачущими по деревне лошадьми. И тотчас у ворот появлялись то чалая тройка Ключевских, то гнедая Сокуровых или вороно-пегие киргизята с вороным иноходцем в корню брата Коли.

Остановившись у крыльца, взмыленные, с капающим потом лошади, отфыркиваясь и встряхиваясь, брэнчали мелодично бубенцами, а из недр уместительных карет, самых разнообразных видов и конструкций, какая только можно было наблюдать у русских помещиков, живущих не менее в двухстах верстах от губернского города, высаживались все новыя и новыя гости...

Поздравив именинника и посидев на веранде, окруженной клумбами с цветущими розами, за чайным столиком, молодежь, оставив старших при оживленной светской беседе, отправилась по своим обычным деревенским развлечениям – барышни в комнаты молодых хозяек и в сад, а мужчины на конюшню показывать и смотреть лошадей. Тем временем кучера уже выводили из денников на полянку перед конюшней жеребцов и казенных производителей. К слову сказать, козловская конюшня щеголяла тогда гнедым рысаком Налетом, купленным в Москве, и вороным резвым Механиком.

Осмотрев конюшенных лошадей, перешли к карде трючных. Там вниманием пользовались коренники трюек – огромный, серый в «яблоках» Простодушный и из вороной тройки – Соперник. Общим же любимцем был белоногий Американец, верховой покойного Коли, теперь ходивший под дамским седлом моей избранницы Пашеньки...

Оглядев «козловских», обошли кругом конюшни осмотром приезжих трюек. Распряженные лошади в шлеях стояли по одному, привязанные к кольцам, ввинченным в стены. А те, которым не хватило места у колец, разместились в большом, на три тройки, стойле около каретника.

Между гостями и съехавшимися кучерами, присоединившимися к ним, шел общий разговор с подтруниванием над их манерой езды и случаями для них конфузными. Особенно кучера любили поддеть дружественными надсмешками, больше всего приходившимися на долю татар – сокуровского Гайны и ключевского Михайлы, крещенаго татарина Кашапки.

Вспоминали и отсутствующих, прославленных своей резвой ездой кучеров и лошадей. В памяти всех вставала тройка Колюшки Андреевского со знаменитым коренником – иноходцем Савраской, делавшая сто двадцать верст в одну пряжку из Бугульминского уезда в Козловку, и резво после этого подбъезжавшая к крыльцу.

Памятна была и Пчелка, выпустившая перед собой восемнадцать трюек при выезде из Луговой на свадьбе Ольги Вла-

димировны Карамзиной, и по дороге в Козловку обошедшая растянувшийся на несколько верст весь свадебный поезд...

Не забыли посмеяться над четвереком Кошкарова, под тяжестью лондо которого в день свадьбы рухнул мост.

После хождения по двору, все вновь – и барышни, и кавалеры соединились у крылечка, любимом месте времяпрепровождения в Козловке. Крыльцо – в виде небольшого балкона с двухскатной крышей, поддерживаемой парными колоннами по обоим сторонам лестницы в несколько ступень, выходило на север, и в такие жаркие дни, каким помнится пятнадцатое июля четырнадцатого года, было самым прохладным местом во всем имении.

Разсаживались по скамьям, стоящим по обоим сторонам входных дверей, и на ступеньках. Против крыльца – площадка с качелями, гигантами, турником, кольцами, брусьями. А поодаль – крокетная. В то время, как шла игра в крокет, любители гимнастики подчас вытворяли «номера», не уступающие цирковым. И Шура, и Васенька были хорошими гимнастами, а среди съезжающей дворянской молодежи, находились и занимавшиеся атлетикой, а чаще – просто любители, уповавшие на свои способности и смелость в исполнении самых фантастических и рискованных выступлений.

Но из барышень только Пашенька, веселая и безбоязненная, шла на исполнение весьма опасных выдумок, неоднократно кончавшихся катастрофически. Совсем недавно в саду, на качелях у Сокуровых, пытаясь сделать «солнце» или, попросту говоря, описать в воздухе «полный круг», она сорвалась и только чудом не разшиблась, все же долго находясь в безсознательном состоянии, при этом шпильки от прически вонзились ей в голову...

...На этот раз полдневная жара знойного летнего дня отбивала охоту к развлечениям на солнцепеке, но все же кое-кто затеял игру на высоких ходулях, стараясь подбить друг друга подножкой.

Наступил час обеда. Все были приглашены к столу, накрытому на балконе дома, называемому в Козловке терраской. Начался он с бесчисленного количества закусок под столь же разнообразный ассортимент водок, наливок и вин. Поднимались бокалы, звенели в воздухе хрустальным звоном, благоухание, доносившееся из сада, пьянило больше, чем живительная влага, и застолье приняло уже совсем именинный оборот, когда в дверях появилась горничная с письмом в руке.

Она сообщила притихшим гостям, что из Полибина прискакал нарочный, и передала конверт дяде Володе. Пока он дрожащими руками распечатывал письмо в наступившей тишине – первая мысль – случилось несчастье с мамой, потому что подчерк на конверте был папин.

Наконец, дрожащим от волнения голосом, именинник прочитал: «Объявлена мобилизация. Колю и Васю вызывают в Бугуруслан. Получена телеграмма от Саши: «Сегодня ночью покидаю Самару. Благословите. Обнимаю». Мы с мамой выезжаем к нему благословить и проститься, но не уверены, застанем ли его. Любящий тебя брат Александр.»

Весть, как громом, поразила всех. С этой минуты обед перестал носить не только именинный характер, но и вообще обеда. Хотя прискакавшего нарочного Федора Голубева, хоть и не с благой вестью, приказали угостить на кухне.

...Никто не сомневался, что за объявлением мобилизации последует объявление войны.

И все же Государь еще несколько дней надеялся дипломатическим путем отвлечь Мировую войну. Только после того, как Австрия с одобрения Германии напала на Сербию, начав бомбардировать ее столицу Белград, не обращая внимания, что никто не отвечал на канонаду, а над городом реяли мирные белые флаги, были посланы телеграммы в военные округа – Московский, Казанский, Одесский и Киевский о всеобщей мобилизации.

На следующий день, девятнадцатого июля, германский посол в России Фридрих Пурталес от имени своего прави-

тельства вручил министру иностранных дел Сазонову ноту с объявлением войны. В тот же день германские войска переходят русскую границу...

Императрица Мария Федоровна, находившаяся в это время в Париже, срочно покидает его через Берлин и Копенгаген, вывозя в своем вагоне русских офицеров. В их числе был и Александриец, поручик Иван Александрович Глебов, прикомандированный временно для службы в Шестом Лейб-гвардии Кирасирском полку.

В Берлине к Императрице присоединился генерал-майор Илья Леонидович Татищев, состоящий представителем свиты Его Императорского Величества при Вильгельме II, германском императоре и прусском короле.

Как Иван Александрович Глебов, так и Илья Леонидович Татищев рассказывали мне, что Вильгельм приехал на берлинский вокзал, чтобы встретить Императрицу, и преподнес ей букет цветов. Но Ея Величество Императрица-мать с возмущением бросила букет под ноги Императору, при этом резко высказав совсем не лестное мнение о нем, после чего Вильгельм немедленно отбыл. А так же поведали о том, что переехав датскую границу, пришлось остановиться и отмыть вагон снаружи, так как он был заплеван немцами.

...Двадцатого июля Государь Император Николай II оповестил Россию Манифестом, который заканчивался следующими словами:

«...В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага.

С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестных войска наши Божие Благословение».

Кто бы мог предвидеть, читая Манифест, подписанный Собственною Его Императорского Величества рукою, что трагическая судьба России будет предreshена в тот знойный

июльский день, а вместе с нею и судьба семьи Карамзиных, равно как и других дворянских родов...

II. Отправление

...Четырнадцатого ноября шестнадцатого года я вернулся в срок из свадебного отпуска.

Дивизия продолжала стоять на тех же квартирах, числясь в армейском резерве. За это время Высочайшим приказом утверждено пожалование мне ордена Св. Станислава второй степени с мечами и я произведен в штабс-ротмистры.

Через два дня после моего возвращения штабс-ротмистр Сергей Александрович Топорков уехал в отпуск, а я принял от него Пятый Гусарский Александрийский эскадрон Ея Величества Императрицы Александры Федоровны во временное командование...

Немного истории.

Полком, который получил шефство Государыни Императрицы в девятьсот четвертом году, в лето Рождения в Александрии Наследника – Цесаревича Алексея, еще в Отечественную войну восемьсот двенадцатого года командовал коренной Александриец князь Валериан Григорьевич Мадатов. Это он, будучи полковником, в сражении под Калишем отважной атакой «безсмертных» заставил Саксонского генерала Ностица положить со всем отрядом к его ногам оружие, получив за подвиг орден Св. Георгия третьей степени.

В тысяча восемьсот двадцать девятом году, командуя Третьей Гусарской дивизией в составе Первой бригады Ахтырского, Александрийского и Второй – принца Оранского и князя Витгенштейна, тридцать первого мая у Эски-Стамбул под крепостью Шумлой имел блестящее геройское дело, за которое Александрийцы получили Георгиевский Штандарт, а самому князю Мадатову пожалован Орден Св. Александра Невского.

В это время полком командовал полковник Алексей Захарович Муравьев. За сражение у Эски-Стамбул Сам Государь Николай Павлович наградил его орденом Св. Георгия третьей степени.

Как известно, среди командиров был и полковник Андрей Николаевич Карамзин, сын Историографа Николая Михайловича, принадлежавший гвардейской конной артиллерии. В шестьдесят четвертом году в бою под Каракалой он пал смертью храбрых...

...Ранее шефом был Великий Князь Николай Николаевич Старший, но со времени Его кончины полк оставался без оно-го. В Собрании же полка висел портрет покойного Шефа в гусарской форме времен Императора Александра II.

Летом восьмого года полк с его командиром графом Келлером был вызван в Спалу на Императорский смотр и представлен Ея Величеству Государыне Александре Федоровне.

Следующее лето провели сборы в Красном Селе, где и состоялся Императорский смотр на военном поле. Представлялся полк Ея Величеству Шефу в Петергофе, в Александрии, и Великим Князем Николаем Николаевичем дан обед в честь этого события.

Участвовали Александрейцы в заре с церемонией в общем Императорском смотре лагерных сборов и Императорских маневрах. Командовал полком три года, до одиннадцатого, полковник Лейб-гвардии конного полка граф Андрей Шувалов.

В память о представлении Шефу в Спале, офицеры носили значок с изображением серебряного вензеля Ея Величества Шефа на дубовых ветвях.

... Ко дню моего выхода в полк им командовал барон Сесиль Артурович Корф. Эскадронов в полку было шесть, но Первый из них именовался эскадроном Ея Величества, во главе которого находился ротмистр Готгард Федорович Беккер.

В год трехсотлетия Царствующего Дома Романовых состоялось два памятных события.

Первое. Открытие памятника Великому Князю Николаю Николаевичу Старшему. От полка на это торжество ездили

полковник Корф с адъютантом, и взвод эскадрона со штандартом под командованием поручика Ивана Александровича Глебова с ассистентами – корнетами Раввой Первым Николаем и Сергеем Алашеевым. Они одного роста, оба шатены, круглолицы и, вообще, на вид парны, как нельзя лучше.

Вся эта группа участвовала в церемониальном марше перед вновь открытым памятником, парад у которого принимал Николай Николаевич Младший...

И второе. Барон Корф с адъютантом представлялись в Петербурге Их Величествам и полку пожалован нагрудный знак – офицерский и солдатский. Причем, из представленных проектов, Ея Величеством удостоен проект, исполненный юнкером Николаевского кавалерийского училища Александром Карамзиным, выходящим в полк, то есть мой проект.

Черный мальтийский крест обведен гусарским сутажем с нарукавным шитьем доломана на поле каждой лопасти, на перекрестке мертвая голова с пересекающимися за ней костями. Отличие офицерского от солдатского только в выработке – рисунок тот же. Гусарский штампованный, с блестящей эмалью, а офицерский с накладной мертвой головой и матовой эмалью.

Первого февраля четырнадцатого года полк получил серебряные мертвые головы на шапки взамен двуглавого орла...

За время моего отсутствия в полку, из Сызрани прибыл из Первого запасного кавалерийского маршевый эскадрон, но люди, лошади, имунция и обмундирование оказались в таком непригодном для войны состоянии, что только резервное состояние дивизии позволило раздать пополнение по эскадронам. Будь же полк в боевых действиях, пришлось бы эскадрону проходить обучение заново специально выделенными офицерами, находясь при этом в обозе второго разряда...

...Всем известно, что запасные кавалерийские полки в Российской армии являлись частями постоянными.

В мирное время они целый год обучали лошадей, принятых ремонтными комиссиями, а на следующий сдавали в

регулярные полки, где их уже распределяли по эскадронам. Там и назначался офицер для их дальнейшего обучения.

Только весной «доездок» участвовал в эскадронных и полковых учениях, а летом на маневрах нес обычную строевую службу.

Каждый запасной полк шести эскадронного состава обслуживал шесть полков регулярной кавалерии или две кавалерийских дивизии. А эскадрон запасного готовил ремонт для одного регулярного.

Во время войны обязанности запасного разворачивались на полное укомплектование обслуживаемых им дивизий – пополнением людского и конного состава, вооружением, амуницией, обмундированием, седловкой и так далее. Причем, при каждом эскадроне запасного полка готовилось три эскадрона пополнения, так называемых, маршевых эскадронов. Их командирами и младшими офицерами являлись командимуемые регулярными полками, а их главная забота – обучение и подготовка людей и лошадей к боевым действиям.

Из сказанного видно, какая важная и ответственная задача возлагалась на запасные полки и маршевые эскадроны, от выполнения которой в значительной степени зависела боеспособность регулярной конницы...

К сожалению, регулярные полки относились к запасным без должной серьезности. Более того, именно они являлись прямыми виновниками, что там служили офицеры, не ужившиеся в полках регулярной кавалерии.

Кстати сказать, для производимых в первый офицерский чин, вакансий для выхода в запасной не давалось. И полки, желая избавиться от нежелательных для них по разным причинам офицеров, избавлялись всеми способами.

Одним из таких и был перевод в запасной. Причем, сами господа офицеры, почувствовав, что полку не подошли, старались всячески миновать участи перевода, находя себе новое место службы.

Туда же чаще всего переходили и под давлением суда чести офицеров, и «запасники» состояли из лиц с репутацией,

не дающей возможности быть переведенными в регулярные части кавалерии, где с репутацией считаются.

Еще одной ошибкой кадровых полков было бесконтрольное и безразличное отношение к офицерскому составу маршевых эскадронов, который находился в полном несоответствии с требуемым.

И главной причиной скандального состояния марша во время боевых действий с противником, являлось обучение маршевых эскадронов, не нюхавших порошу прапорщиками, окончивших сокращенные до минимума курсы училищ военного времени.

Поэтому было решено послать в Сызрань опытного штабс-ротмистра для командования маршевым эскадроном. И в эту командировку назначили меня.

...Не скрою, она представлялась исключительным, можно сказать, счастливым случаем – так скоро после свадьбы вернуться к Паше, о которой я не переставал тосковать! Я тотчас отправил письмо, чтобы собиралась и что в первых числах декабря заеду за ней в Москву, откуда уже вместе отправимся в Сызрань.

...Первого декабря, сдав вернувшемуся Топоркову эскадрон Ея Величества и распрощавшись с друзьями-гусарами, отправился в штаб полка.

От полковника Скуратова, замещавшего командира, отбывшего в Петроград, получил задание короткое, но ясное: «Приготовить так эскадрон, чтобы люди, приехавшие на фронт, чувствовали себя отменно и духом, и телом». – «Понятно!» – отрапортовал я.

Командиру запасного кавалерийского полка следовало передать бумагу, в которой говорилось, что «штабс-ротмистр Карамзин направляется в Сызрань для командирования очередным маршем» и, что «пришедший на пополнение маршевый эскадрон оказался настолько не подготовлен к войне, что полку пришлось взять ответственность подготовки на себя». Командир просит дать возможность названному офицеру

«вести занятия на его усмотрение», так как он «заслуживает полного доверия со стороны полка».

Конечно, я понимал, что такое письмо, да еще написанное в решительной форме, может вызвать неодобрительное отношение ко мне. Это и высказал полковнику.

– Письмо для командира, а тебе задание уже дано, – ответил он. – Борись со всякими неприятностями и трудностями, время, сам понимаешь, какое. И сообщай мне. Теперь все обрисовалось? Тогда идем ужинать.

Долго засиделись мы в тот вечер за дружественным пошком. Ночевать остался в штабе полка, а утром, напутствующий добрыми пожеланиями, двинулся в Венден для посадки.

Брал я с собой вестового Псянчина с двумя лошадьми – моим Герольдом и закрепленным за мной приказом казенно-строевым Зябликом. И денщика Мухмадеева с вещами – он ехал рядом на ескадронной телеге с походным вьюком и чемоданом, вмещавшими все мое имущество.

...В Вендене, погрузив лошадей с вестовым, проводил их прямо в Сызрань, а сам с деньщиком пассажирским поездом отправился в Москву.

Пробыв в Москве три дня и проведя при этом весело время, даже побывав в театрах, мы с Пашей, закупив нужных вещей и сопровождаемые Мухмадеевым, двинулись в дальнейший путь – в Сызрань, где предстояло впервые самостоятельно устраивать свою семейную жизнь...

III. С Пашенькой в Сызрани

Поначалу мы остановились в гостинице, но за три дня, оставшиеся до моей службы, нашли квартиру и переехали в нее.

Вестовой с лошадьми, прибывший ранее и живший в полку, тоже нашел в непосредственной близости от нас домик, вернее избу с двором, где и обосновался с лошадьми. К тому же раздобыл сдающиеся на прокат почти новые сани с меховой полостью и полным комплектом натяжной сбруи.

Но лошади, пришедшие из-под Риги, где до нашего отъезда еще не ложился снег, в снежной и морозной Сызрани сильно зябли, и их пришлось из холодной конюшни перевести в одну из двух комнат снятого нами домика.

На первой же пробе собственного выезда, впряженный в сани Зяблик, оказался прекрасным рысаком и даже резвым.

...Квартира состояла из двух комнат, окнами на улицу, служившая ранее залой и гостиной в особняке вдовы-купчихи Вишняковой. Комнаты просторные, высокие и хорошо обставленные. Рядом – прихожая с выходом на парадный подъезд.

Что особенно обрадовало и, главным образом, Пашеньку, – в зале стояло старинное пианино, которым наша хозяйка, добродушная старушка, предложила пользоваться в любое время. Гостиную мы превратили в спальню, обстановку для которой тоже дала хозяйка, а зала стала одновременно и гостиной, и залой, и столовой.

Кухонный вопрос уладился лучше, чем могли ожидать. Любезная хозяйка предоставила в наше распоряжение и кухню, и посуду для готовки и стола.

Мой чудный Мухмадеев оказался в домашней жизни столь же незаменимым, как и в походной. Он отлично готовил, образцово убирал комнаты, ходил за покупками на базар и исполнял самые сложные поручения.

Особенно был заботлив и предупредителен до трогательности в отношении нас самих. Зная мою беспечность и неблагодарность о себе, он давно уже превратился из деньщика в дядьку, руководившего практической стороной моей жизни. Теперь же он становился и мамкой моей жены.

Привыкнув делать все без приказов и указов, да, пожалуй, и без замечаний, он и здесь взял инициативу нашего домоустройства в свои руки и так все спокойно и уверенно повел, что лучшего и не выдумать – только не мешай. Этот удивительно воспитанный татарин проявлял искреннюю любовь, выражая ее нежнейшей о нас заботой, при этом вел себя скромно, ненавязчиво и избегал делать что-либо напоказ.

Словом, устройством мы были вполне с Пашенькой довольны, если бы... не одно обстоятельство. О нем узнали в день переезда на квартиру и нас оно первоначально весьма смутило.

Когда разместились на новом месте – зашла хозяйка справиться, все ли удобно и не нужно ли еще чего? А затем сказала, что в доме, кроме нее, живет дочь, причем, душевнобольная, при этом рассказав целую историю о причинах болезни и заверив в том, что помешательство тихое и нет опасности выпадов с ее стороны.

Пашенька все же не решалась оставаться одна в нашей половине, а я, уезжая на службу, боялся, как бы больная Варвара своим неожиданным появлением, не испугала ее, имея ввиду положение, в котором находилась жена.

Правда, Мухмадеев обещал не допустить такого случая. В мое отсутствие или в свободное время он или находился в наших комнатах – или сидел на стуле в коридоре у двери. А если был занят на кухне, то просил Пашеньку запереть двери, и между делом смотрел и прислушивался к тому, где и что делает Варвара.

Но через короткое время мы убедились в совершенной безвредности больной. А главное, Паша так доверяла Мухмадееву, что перестала бояться и даже стала встречаться с Варварой.

То была молодая несчастная женщина, лишившаяся разсудка от шока, испытанного ею во время родов. Сын ее, мальчик лет десяти, жил в соседнем доме у дяди, брата матери, изредка навещая мать и бабушку. Чаще всего больная находилась в своей комнате. Она то молча неподвижно сидела часами, то начинала громко разговаривать сама с собой, выкрикивая несвязные фразы и повторяя по нескольку раз одно и то же. Самым неприятным для нее было, когда ей мыли или расчесывали голову, но и то ее возмущение ограничивалось лишь криками.

Ходившая за ней женщина, водила ее гулять во двор или по улицам. Однажды Пашенька предложила хозяйке прокатить Варвару с ее хожалкой на нашей лошади. С прогулки

несчастливая вернулась довольная и все твердила: «Шик-то какой! Уж шик у этого самого, шик у-то!»

С того времени Псянчин иногда их катал, возвращалась она возбужденная и выкрикивала одно и то же: «Шик у-то! Шик у этого!»

Словом, мы были довольны хозяйкой, она – нами и все остальное в нашей личной жизни, вроде бы, устроилось, как нельзя лучше.

Где-то гроыхала война, сгущались тучи вокруг Царской Семьи, что-то непонятное творилось в Петербурге. Но видит Бог – мы были молоды, так молоды и так счастливы вдвоем в заснеженной декабрем Сызрани, ожидая появления в будущем году сына,* что все остальное находилось как бы за «гранью» нашей любви...

Между тем, не столь радостно и спокойно складывались мои служебные дела, принявшие вскоре просто скандальный характер.

...В первый же по приезду понедельник я явился в полк и представился командиру, вручив письмо Скуратова. Он тут же прочел, но даже виду не показал по поводу неприятного для него содержания, а со мной был даже любезен.

Затем меня познакомили со старшим полковником Павловым и подполковником, заведующим хозяйственной частью, фамилия последнего не удержалась в памяти, о чем я, кстати сказать, не сожалею.

Адъютантом полка был корнет Второго Лейб-Курляндского уланского полка Тюмянцев. С ним до шестого класса корпуса мы сидели на одной парте и подружились. В один год я даже привозил его на Рождество в Полибино, а сам всю зиму ходил в дом его родителей в отпуск.

* В августе 1917 года у Александра Александровича и Параскевы Владимировны Карамзиных родился сын Алексей. Восприемницей при Крещении должна была быть Императрица Александра Федоровна... – Т.Ж.

Окончив Тверское кавалерийское училище, он со дня производства находился в запасном полку; в боевых действиях, в отличие от меня, не участвовал, и пороху, как говорится, не нюхал.

Встретились мы по-товарищески, но на большую откровенность он не пошел, лишь обругав тех, с кем, видимо, не ладил. Поболтав о прошлом, сообщив друг другу, что известно о кадетских друзьях и с грустью подсчитав убитых из них, мы разошлись. Я оставил ему свой адрес и отправился домой, где меня заждалась Пашенька...

Надо сказать, что впечатление от тех, с кем мне предстояло служить, я вынес просто ошеломляющее. Полковник Золотарев внешне скорее напоминал уездного ветеринарного врача, нежели командира кавалерийского полка. Роста ниже среднего, пострижен «бобриком», усы, очки, эспаньолка, плечи уже бедер, а одет в такое обмундирование, что попадись этакий «шляпа» на улицах Петербурга Великому Князю Николаю Николаевичу на глаза, я уверен, что за один только вид отсидел бы добрый срок на гауптвахте.

Полковник Павлов напоминал Держиморду, каким изображают известный гоголевский персонаж актеры провинциальных сцен. Я не допускаю, что могут быть люди, не видавшие «Ревизора», а, следовательно, не предоставляющие Держиморду, а потому и описывать не буду...

«Хозяйственный» полковник не запомнился своей фамилией, видимо, по причине полнейшего внешнего ничтожества, убивающего всякий интерес к его личности. Маленький, плюгавый подхалим, что являлось верным признаком дурного прошлого. Нетрудно представить общий вид чинуши, которого держат только за подхалимство, заведующего отправкой почты и воруемого почтовые марки.

Словом, я не мыслил, что вообще могут быть подобныя кавалерийские офицеры, и как они дослужились до штабс-офицерских чинов, – казалось загадкой.

«Неужели, – думал я, – в русской коннице есть полки, в которых эти два плюгаша и хам Держиморда могли служить,

не будучи вышибленными в первые три дня? Как могли доверить таким бракусам подготовку кадров для пополнения армии в годы страшной войны для России?»

Такие мысли привели меня буквально в ужас. С первого взгляда на сих господ, ставших с того дня моим начальством, я уже почувствовал неминуемый скандал.

Через несколько часов вестовой-разсылный доставил мне на квартиру приказ по полку, один из пунктов которого гласил: «Штабс-ротмистру Карамзину, Пятого Гусарского Александрийского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка, командированному в Первый запасной кавалерийский полк и прибывшему сего десятого декабря, надлежит принять маршевый эскадрон от временно им командовавшего прапорщика Пережогина.

О принятии эскадрона донести рапортом».

...На следующий день, прибыв в полк к началу занятий, я представился командиру Шестого эскадрона, фамилию которого запомнил. Это был уже немолодой ротмистр мирного времени, внешне выглядевший вполне подобающе для кавалерийского офицера. Впечатление не оставило неприятного осадка – он показался симпатичнее всех остальных.

Во время разговора, к нам подошел прапорщик в форме Александрийского полка, представившись временно командующим маршевым эскадроном Пережогиним. Он предложил мне тотчас же приступить к передаче, а я попросил ротмистра при сем присутствовать и пояснять некоторые вопросы – на что тот любезно согласился и мы втроем пошли в эскадрон.

Еще через пару минут я был радостно удивлен, что вахмистром оказался бывший вахмистр эскадрона Ея Величества подпрапорщик Тупоносов при моем выходе в полк. Я знал его за отличного службиста, опытного в своей должности, и встретившись с ним, высказал удовольствие вновь служить.

Но в время процедуры приемки, как мне показалось, он несколько раз пытался меня о чем-то предупредить и, подписав рапорт о принятии эскадрона, попросил его быть у меня на дому, вечером...

IV. Сага о тухлой капусте

Принял я Тупоносова по-домашнему, за рюмкой коньяку и чашкой чая. В дружественной беседе он посоветовал мне не пробовать пищу при гусаках. «Почему?»

Немного замаявшись, он сказал следующее: «Ваше Высокоблагородие, уже по дороге к Вам я решил без утайки открыть всю правду о том, что в полку творится. Только покорнейше прошу Вас, не пало бы подозрение на меня, вроде, как донес. Извините за смелость предупреждать, но не советовал бы высказывать себя против ихних дел. Тут ведь, не один, скажем, кто из них, а все вместе, за одно сговорившись, действуют. А ежели слово супротив них сказать, так ни перед чем не останутся, потому как вся ихняя работа, коли она откроется, под полевой суд всех сдаст.

Вам-то, Ваше Высокоблагородие, доверюсь во всем, только уж прошу осторожность полную соблюсти».

Разумеется, я обещал быть осторожным, но такое длинное предисловие, видимо, вело к чему-то серьезному. Но то, что вослед за этим услышал – оказалось сверх смелых догадок.

Оказывается, я не смогу проглотить ни одной ложки шей, сваренных из гниющей капусты, дающей отвратительный запах и хинную горечь на вкус. Капуста эта, по словам Тупоносова, куплена по ничтожной цене, так как на корню ее побил ранний мороз, а затем наступило тепло и она загнила. Солили ее уже совсем испорченной.

«Как же люди-то ее едят? – спросил я. – «Не едят, Ваше Высокоблагородие, невозможно».

Вслед за этим вахмистр рассказал, что офицеры всем составом, включая командира, в начале войны купили участок земли со скотным двором, и отбирают туда лучших лошадей из новых ремонтов, заменяя их, скупаемых по дешевке, браком, не принятым приемочными комиссиями.

Некоторых кобыл оставляют для жеребят, а остальных лошадей, через подставных людей, вновь сдают в приемочные комиссии, в соседней, Пензенской губернии. А в пополнение

полков для фронта отправляют худших лошадей, собранных из всех трех маршей каждого полка.

Так же поступают и с людьми. Молодежь же с ускоренных курсов, попавшая в маршевые эскадроны запасных полков, все это знает и, не желая ехать на фронт, шантажирует начальство. А те, боясь быть выданными, не отправляют их в действующую армию – находят всякие причины и, вообще, мирovolят.

Один прапорщик проиграл казенные деньги и наделал долгов. Явившись к заведующему хозяйством, он заявил, что прежде, чем пустить себе пулю в лоб, напишет письмо командиру Казанским военным округом генералу Сандецкому и в военное министерство, подробно описав все, что ему известно о проделках офицеров.

В тот же день деньги ему были возвращены и долги оплачены.

Много грязных историй услышал я в тот вечер – всего не припомнишь. Какая чувства охватили меня и словами не определишь! В те годы я не умел впадать в ужас, однако, испытывал нечто близкое к этому.

Прощаясь с вахмистром, еще раз подтвердил свое обещание – не вмешивать его ни в какой степени в возможность быть выступления с моей стороны.

История с капустой подтвердилась на следующий же день при пробе мною пищи.

В эскадроне дела обстояли и того хуже. Если и было обучение, то все сводилось к строевым занятиям, а о полевой службе вообще не имелось ни малейшего представления. Ездили плохо и конного строя не знали. Прапорщик Пережогин, единственный младший офицер в эскадроне, оправдывал такое положение тем, что только три раза в неделю разрешено седлать лошадей и на один час занятий. Проходят они в открытом манеже, на «короткой рыси», тогда как выезды в поле не разрешаются. «Отчего?» – поинтересовался я.

Тогда он мне объяснил, что расписание занятий составлялось в канцелярии по программе обучения молодых солдат-новобранцев мирного времени, совершенно не принимая во внимания, что марши должны пройти все ускоренно, но войти в строй со всеми положенными солдату знаниями и навыками.

«Да и к чему продолжать войну? – заявил мне мрачно Пережогин, – разве мы уже не побеждены? – «Но ведь и два с половиной года назад, как только началась война, здесь, в тылу, жили по этим законам?» – «Точно, жили,» – согласился он, – но не в такой степени побеждали еще тупость и лень. Сейчас все катится, не остановишь, э-эх», – махнул он рукой, дав понять, что разговор, явно неприятный, а может быть, и опасный для него, закончен...

При встрече со старшим полковником Павловым, руководящим строевой частью, я не приминул заметить, что расписанием занятий поставлен в затруднительное положение, и вообще оно не отвечает требованиям того задания, что я получил от командира полка, направляясь в Сызрань. На что он, со свойственной ему грубостью, ответил: «Для вас, штабс-ротмистр, мы не намерены составлять особого расписания, – извольте придерживаться действующего».

Но несмотря на столь однозначный ответ полковника, я стал, как говорили мы тогда, «передергивать и втирать очки», то есть создавать впечатление выполнения расписания, но делать то, что считал необходимым.

Унтер-офицеры моего эскадрона, вернувшиеся из запаса и выздоровевшие после ранений, большей частью были коренными Александрийцами, знающими службу.

Состав же гусар – разношерстный, и среди них новобранцы и старые солдаты, никогда ранее не служившие в кавалерии. Выделив их из всех взводов в отдельную команду, приставив лучших унтер-офицеров, и назначив для занятий прапорщика, велел заниматься по расписанию, проходя все с азав, что совершенно соответствовало требованию их обучения.

С остальными проходил полевую службу «пешем по конному». Конными занятиями руководил сам и, с согласия полковника, каждый день, но разделив лошадей, седлал поочередно. Приказал прапорщику изучить по уставу стрелковое дело и проходить затем с унтер-офицерами.

Результат оказался быстрее, чем мог ожидать. Уже через месяц отставшие вернулись по своим взводам для дальнейшего обучения.

Ловчась и комбинируя, мне как-то удалось наладить занятия, близко к желаемому.

Но все же отношения мои с руководством запасного полка с места обрисовались в самой скандальной форме...

Каждую пятницу, вечером, все офицеры запасного полка и маршевых эскадронов собирались в помещении полкового собрания вокруг длинного обеденного стола.

Несколько замечаний делал командир, за ним всегда резко и грубо старший полковник – хам «Держиморда». Затем «хозяйственный плюгаш» открывал огромную книгу и, елозя по страницам носом, оседланным очками, начинал опрашивать командиров маршей.

Собственно, эта длительная, скучнейшая и совершенно не нужная процедура и являлась главной целью общего сбора.

Несмотря на то, что всякое хозяйственное исполнение доносилось рапортами, спрашивалось вновь: «Переданы ли из седьмого четвертаго в восемь с четвертью три седла?» или «Получены ли эскадроном из хозяйственного склада метлы?» И прочия ерунда.

Затем последний вопрос, привстав, и не думая получить на него ответ, произносил командир: «Может быть, у кого что имеется спросить?»

В первую же пятницу после сказанного я поинтересовался насчет шей из тухлой капусты. Несколько секунд гробового молчания, в которые три полковника вопрошающе переглядывались друг с другом, как бы недоумевая, кто на подобную дерзкую глупость должен отвечать?

Наконец, «хозяйственный плюгаш», сидевший как бы под столом, за толстой захлопнутой книгой, сверкая лишь стеклами зеркальных очков, попросил «разъяснения», на что я ответил, что «пояснения дать не могу, а докладываю только факт».

Надо сказать, что маршевые эскадроны своих кухонь не имели, а довольствовались с кухни запасного полка.

Стали опрашивать командиров, получающих там пищу, которые опустив голову, скромно подтвердили: «Да, в последнюю неделю щи были, действительно, горькие и с дурным запахом». Прочия промолчали, хотя щи варились и для них из этой же капусты.

Вмешался, наконец, командир: «Отдаю приказ о специальной комиссии с участием командиров эскадрона запасного и одного из маршевых... а-а, лучше самого штабс-ротмистра Карамзина и полкового врача». После чего все разошлись.

По пути к манежу, где в предманежнике стоял мой Герольд, я спросил идущего туда же командира одного из маршей Литовских улан: «А как у вас, щи в порядке?» – На что тот смущенно ответил: «Да тоже что-то не тово, воняют и горчат». – «Так отчего же вы молчали?»

Вопрос мой повис в воздухе...

V. Начало конца

...Сумрачные, снежные дни, полные печали. Кажется, сама зима развертывает над Россией свой гробовой саван...

Пока у нас в запасном кавалерийском полку разрешали проблему «тухлой капусты», Императорский Дом Романовых, который лихорадило еще с ранней осени, оказался окончательно расколотым. Великия Князья и среди них Александр Михайлович, Павел Александрович, Николай Михайлович считали, что только «путем частичных реформ» возможно остановить ход надвигающейся революции. Главным препятствием к тому они видели в Государе, находящемся, по их мнению, под влиянием ближайшего окружения

Ея Величества, центром которого был Распутин. Несмотря на материнскую любовь к «дорогому ненаглядному Никки», вдовствующая Императрица-мать Мария Федоровна поддерживала заговорщиков, глубоко раскаявшись позднее в своем поступке...

Так или иначе, преувеличенные до крайности толки о крестьянине Тобольской губернии, послужили средством борьбы, направленной к дискредитированию монархического строя и Личностей Государя и Императрицы. Не подлежит сомнению, что достигшая, благодаря, главным образом, лжи и клевете, чудовищных размеров слава Распутина, сослужила революционерам службу и создала благоприятную почву для падения Российского Трона.

Говорили и то, что «Распутина выдумал» Сам Великий Князь Николай Николаевич, невесту которого Распутин «заговорил» и она выздоровела. Он, вроде бы и порекомендовал его Государыне, сочувствуя Ея страданиям по поводу болезни Цесаревича Алексея...

...В ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря, в подвале князя Юсупова, который был женат на племяннице Государя Ирине, Распутина убили. Во дворец об этом сообщил Протопопов.

Смерть Распутина произвела тяжелое впечатление на Государыню и некоторых Ея приближенных. Труп привезли в Царское Село и похоронили на участке за Федоровским собором, там, где Анна Вырубова хотела построить убежище для инвалидов. Собиралась она и сама там жить, так как была больная и к тому же хромоножка.

В убийстве Распутина принимал участие Великий Князь Дмитрий Павлович. За него просил Государя его отец, Великий Князь Павел Александрович, а так же и другие Великия Князья. Но Государь сказал:

– Убийц я не прощаю.

...На следующий день после этого известия я слег с высокой температурой. Чувствуя, что до понедельника, назначенного дня сбора комиссии «по вопросу о тухлой капусте»,

не выздоровлю, послал свои сани с нарочным к полковому врачу, прося меня освидетельствовать.

Он прибыл, определил ангину, прописал лечение и освободил от службы на пять дней, написав о том записку. Составив рапорт о болезни и приложив записку врача, тотчас отправил все в канцелярию.

Приехавший ко мне домой в понедельник Тупоносов, рассказал: комиссия заключила, что только одна бочка, стоящая у дверей погреба, испортилась от постоянного открывания двери на мороз, и что именно из нея капуста подавалась на кухню в последнюю неделю, а потому нужно снять верхний слой на шесть вершков и выбросить, а остальную употреблять. Он сам у писарей читал акт.

– Напрасно Вы, Ваше Высокоблагородие, с ними связываетесь, ждите больших неприятностей по службе. А люди будут есть ту же капусту, которой набит погреб. Знаю, есть у нас пара бочек с хорошей, да это на случай приезда какой-нибудь инспекции или самого Скоропадского.

– Знаю дорогой вахмистр, но смолчать не мог.

При нем доставили приказ на вторник. Я увидел параграф о комиссии, осмотревшей капусту и ее постановление – слово в слово, что только что слышал от вахмистра. Но в следующем пункте мне объявляли выговор «за заявление, сделанное без достаточных оснований».

– Как же без оснований, когда сами признали хоть на шесть вершков испортившуюся капусту?

– Они Вам этого не простят и в отместку выдумают, что хотят, – понизив голос и покачав головой, промолвил Тупоносов.

За две недели, оставшиеся до Нового года, меня отдали в приказ еще три раза. Сначала «за разгуливание гусар по железнодорожному вокзалу без увольнительных билетов».

Но не только гусары моего эскадрона бегали без разрешения погулять по вокзалу. Время от времени, в часы после занятий, на вокзал посылался патруль, разгуливающих ловили,

переписывали и отводили в казармы, а списки разсылались командирам эскадронов, которые и налагали различные взыскания.

На сей раз из переписанных оказалось и трое гусар моего эскадрона, о них «особо» и позаботились – посадили под арест распоряжением старшего полковника, а мне объявили выговор.

Следующий получен за «небрежное и неумелое отдание чести господам офицерам» гусарами моего эскадрона.

И, наконец, за то, что мои гусары, возвращаясь группами со стрельбы в тире, подсаживались на площадки товарных поездов и так доезжали до станции, а оттуда уже возвращались в казармы. Но так поступали многия, несмотря на строгий запрет, а в приказе значились лишь люди моего эскадрона...

Ну и ну! Приняли, как родного, а по их правилам и отца родного зарезать могут. Словом, отношения у меня в полку сложились самая трогательная – не успел принять эскадрон, как сразу обласкан выговорами. Водевиль, да и только со всеми мезансценами!

Каждый раз после приказа с выговором, я сообщал письмом полковнику Скуратову с объяснением всего происходящего по службе:

«...Прошу, дорогой Костя, не забыть, что все это пишу Тебе по дружбе и по секрету от моего послужного списка. Не только надеюсь, но вполне уверен, что подобная этому рассказы, с моим лично в них участием, мне удастся излагать часто, так как «номер с капустой» дает только лейт-мотив для дальнейших актов постановки, на которую сценарий еще только пишется».

В этом духе, чередуя дружескую беседу с деловым изложением событий, сообщал все дорогому Константину Николаевичу, ничего от него не скрывая.

Он отвечал мне сердечными, ободряющими письмами, давая советы и обещая в нужную минуту отозвать из тыла в полк.

«Твои письма вполне соответствуют тому, что я всегда в Тебе ценил. Но и предвидел, что командовать эскадронам в Сызрани сложнее чем эскадронам Ея Величества в родном полку. Потому-то при выборе с Александром Николаевичем, кого послать командовать маршем, не задумываясь, назвал Тебя. Рад, что оправдал мой выбор. Держись так и дальше. Помни, что антрепренер всех этих водевилей – я, и выгнать всю труппу со сцены сумею»...

...Никакие служебные дела на домашней жизни ни в коей мере не отражались. И чтобы не волновать Пашу – о неприятностях не рассказывал, а пользуясь официальной отменой визитов в военное время, не переступил ни одного порога, хотя в Сызрани жили и Уваровы, и Носакины и некоторые другие знакомые. Но с ними мы не устанавливали связей.

К тому же Паша не чувствовала себя уверенно в ее положении. В мое отсутствие она много музицировала, бывая же вместе, мы гуляли по заснеженным сызранским улицам, вдыхая морозный бодрящий воздух, катались вечерами на санях, ходили по воскресным дням в монастырь – вообще, развлекались, как умели. И не скучали.

Пользуясь возможностью, отпустил в отпуск Псянчина, временно заменив его тоже башкиром из своего эскадрона. По его возвращению, поехал в отпуск на три недели Мухмадеев, оба они Уфимской губернии и из поездок непременно привозили нам гостинцы – гусей и уток с собственного подворья. В отсутствии Псянчина готовила для нас кухарка хозяйки.

...Перед самым Новым Годом, видимо, от встряски на ухабах во время катания, заболела Паша, и была угроза беременности. Вызвав доктора Гуревича, весь канун Нового года продержал его у нас, дав затем лишь час времени на встречу. Причем, Псянчина, возившего его на нашем Зяблике, предупредил об этом.

Доктор оказался толковым и благодаря ему все обошлось благополучно.

...После бессонной ночи и волнений из-за Пашиного состояния, наутро, первого января, меня ждали в полку на церемонии взаимных поздравлений.

Мороз в то утро стоял сильный, все вокруг заиндевело – и крыши домов, и деревья – и, казалось, замерло в тревоге – наступил семнадцатый год...

Я вышел во двор, но завидя выведенных из избы лошадей, покрытых инеем и дрожащих, с места взял широким галопом, и так мчался все три версты до полка. Там велел покрыть их попонами и водить в закрытом манеже.

На галопе по тридцатиградусному морозу, у меня перехватило дыхание и, войдя в собрание, где ожидали приезда командира и штаб-офицеров, поздоровавшись со всеми, внезапно почувствовал, что более оставаться в душном накуренном помещении не могу.

Вышел на подъезд, откуда вернулся с приехавшим полковником Золотаревым.

После закусок и поздравительных бокалов с шампанским, при этом я выпил один бокал и рюмку водки, – все разъехались по домам, а я заглянул в казарму, поздравил вахмистра и гусар, сказав пару патриотических слов.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день в приказе по полку прочел выговор за то, что на новогодних поздравлениях меня видели в настолько нетрезвом виде, что принужден был выйти на улицу для «освежения».

От такого новогоднего подарка меня взорвало. Это уж чересчур! Пора менять игру и становится банкометом самому!

...На следующий день, в воскресенье, я вступил на дежурство по полку, но только в понедельник полагалось встретить командира при его подъезде к канцелярии и отрапортовать.

Ожидал его обозленный и хотя не знал, как все выйдет, но был уверен, что выйдет.

Дышловая пара серых остановилась у подъезда, из саней вышли полковник Золотарев и адъютант Тюмянцев. Дав подойти командиру на четыре шага, отрапортовал ему о благополучии в полку и, видя, что он протягивает мне руку, сделал

шаг перед и поворот налево, давая этим ему дорогу и крепко держа свою у козырька.

Протянутая им рука так и осталась висеть в воздухе.

Адъютант, стоящий за его плечами, все видел. Он побледнел, и когда командир полка двинулся к двери, на неверных ногах и не сразу зашагал за ним...

Что за сим воспоследует? – подумал я. – В приказе выговор за то, что штабс-ротмистр Карамзин не подал руки – не напишешь.

Но обошлось, как нельзя лучше. Полковник стал просто избегать меня. Однако выговоры в приказах и мелкия гадости продолжали сыпаться, как из рога изобилия. А тут еще вдруг в маршевый эскадрон, находившийся на усмирении киргизов в Тургайской степи, которым командовал штабс-ротмистр Равва Первый, присланный для этого из полка, – потребовалось пополнение.

В приказе перечислялись люди и лошади, назначенные в отправку, и, к своему удивлению, кроме лучших гусар своего эскадрона, в списке лошадей увидел Зяблика!

Я немедленно подал рапорт, прося не брать из моего эскадрона людей и лошадей, так как в случае вызова на фронт подкрепления, приведу эскадрон, подобный предыдущему, о коем отзыв Александрийского полка командиру известен. Что касается Зяблика, назначенного в отправку в степь, то он «является моей казенно-строевой лошастью, о чем проведено в приказе по Александрийскому полку».

Зяблика мне оставили, но выговор «за дерзость» все же схлопотал.

...История «с взаимным поздравлением» и последовавшим рапортом командиру полка, описанная мною в письме, Скуратову очень понравилась. Он назвал ее «выходом с козырного туза». В конце, весьма занятого по этому поводу письма, приписал: «Ты держись, но я готов по телеграмме Тебя отозвать».

Не видя конца травли и новых средств борьбы, которая, кстати сказать, мне надоела, я решил дать телеграмму в полк

с просьбой о смене. Но тут же просчитался, так как для отправки телеграммы на фронт требовалась печать части. Но командир полка поставить ее на телеграмму отказался.

Теперь он знал, что я стремлюсь вернуться на фронт, и если этому препятствует, значит что-то решил в отношении меня предпринять. Ходили слухи об отправке еще нескольких эскадронов в киргизскую степь. Такое мне вовсе не улыбалось по целому ряду причин...

VI. «Кругом измена и трусость, и обман!»

Пятого января состоялся обед у петроградского промышленника Богданова, где присутствовали члены Императорской Фамилии во главе с Великим Князем Гавриилом Константиновичем, а так же гвардейские офицеры, члены Государственного Совета – верхней Палаты Думы и большая группа фабрикантов с Путиловым во главе.

Вырисовывался сценарий «тихого переворота». Из Петрограда разведка донесла, что фабрикант Путилов, обращаясь к Великому Князю Гавриилу Романову, предложил собрать нечто вроде «земского Собора» и торжественно объявить Государя, помазанника Божьего «слабоумным, непригодным для лежащей на нем задачи, неспособным более царствовать, и объявить Царем Наследника под регентством одного из Великих Князей».

В одном из «вариантов этого сценария» фигурировал и проект ссылки Ея Величества Императрицы Александры Федоровны в Сибирь...

Возвращаюсь к личной жизни. В начале января в Сызрань, к общей радости моей с Пашенькой, приехали мои родители – папа и мама – вдвоем.

Принимая по внимание жестокие морозы, папино нездоровье, при котором даже железнодорожные удобства все же тяжелы – это был с их стороны настоящий подвиг. И я понимал, что толкнуло на него – желание видеть нас и поклонить-

ся могилам папиных родителей – Николая Александровича и Веры Васильевны Карамзиных...

Устроили их в зале, а в необходимом комфорте любезно помогла хозяйка дома Вишнякова.

Папа много вспоминал о детстве, их доме, большом, просторном, с обширным двором, садом и огородом, который напоминал помещечью усадьбу и считался самым богатым в Сызрани. Но родительский дом, принадлежавший купцу Ледневу, сгорел в общем городском пожаре, полыхавшем несколько дней, когда отцу едва стукнуло четырнадцать. На месте сгоревшего, купец построил новый, а последним владельцем имения деда моего, стал купец Пережогин, отец прапорщика моего эскадрона.

Чувствовалось, что папа близко к сердцу принимает воспоминания о прошлом...

Мухмадеев, отпуск которого задержался из-за приезда родителей, ухаживал за папой с каким-то особым вдохновенным уважением. Я ездил в полк каждое утро в санях, отпускал обратно, чтобы денщик и вестовой могли повозить отца по городу. При этом Псянчин, обычно, на козлах, а Мухмадеев на сиденьи рядом с отцом – так они объездили всю Сызрань.

Папа остался ими премного доволен, оба понравились своей доброжелательностью, привязанностью к нам и ретивой службой. Уезжая, он сделал им, как догадываюсь, крупный денежный подарок, и попросил служить так же верно и дальше.

На кладбище к Карамзиным, я поехать с родителями не смог, потому что проводил в то время в эскадроне занятия. Но зато мы все вместе побывали в гостях у Носакиных, в семье брата графини Татищевой, а мама с Пашей на ежедневных службах в монастыре...

Семь дней, проведенных с нами мамá и папа́ в Рождественския праздники, пролетели, как один, но след от их приезда остался в памяти неизгладимый, как и последние слова отца:

– Помнишь, Саша, оперу Мусоргского «Борис Годунов»? Государь объявляет боярам, что сейчас отойдет ко Всевыш-

нему. Зажигаются свечи, звучат колокола. Но едва от отдает душу Богу – народ восстает. И в эту самую минуту появляется самозванец, Лже-Дмитрий, за которым ревущая толпа идет в Кремль.

На сцене остается лишь один юродивый, он поет: «Плачь, Святая Русь Православная, плачь, ибо ты во мрак вступаешь».

Мы идем к худшим временам – будет и взбунтовавшийся народ, и самозванец, будет юродивый, много юродивых...

С отъездом родителей, мысль о возвращении на фронт появилась у меня впервые, и стала крепнуть, а особенно ее поддержала упомянутая приписка моего дорогого Константина Николаевича Скуратова о телеграмме.

За это время полк прошел полный курс учебной стрельбы в тире.

Выяснив меткость каждого гусара, я разделил весь эскадрон на три категории – отличных, удовлетворительных и плохих стрелков. В дни стрельбищ назначал в домашний наряд и по казарме лучших, а тем, кого привыкли считать безнадёжными, давал возможность стрелять по два раза.

Такия «комбинации» быстро подняли качество стрельбы у, казалось, слабых стрелков, и когда дал право стрелять всем, приведенным в тир, то общий подсчет показал стрельбу «высокого попадания». А на отчетной, среди шести маршевых эскадронов, мой оказался первым и превзошел по результатам все остальные.

Радости не было предела, хотя в приказе эскадрон-победитель быть выделенным не удостоился чести, просто участникам объявлялась от командира благодарность.

Словом, эскадрон подтянулся, и я надеялся, что в конце апреля – начале мая, он в полном составе может быть отправлен в действующую армию...

Но дела складывались так, что нужно было во что бы то ни стало добиться отъезда в родной полк. Кроме первой тому причины – неладов с начальством, высвечивалась и вторая, еще неприятней и серьезней.

Из моих рапортов и возможных требований в интересах эскадрона и бесконечно получаемых выговоров и прочих мелких гадостей, чинимых мне начальством, явно показывающим свою злую-отвратную рожу, у гусар создалось совершенно нежелательное обо мне мнение, как об их заступнике, терпящем за то гонение.

Подчеркнутое внимание с проявлением даже сочувствия, начинало создавать впечатление сообщников «в борьбе за правду». Этого-то я уж никак не хотел.

Им было все известно по приказам, от писарей, служителей собрания и прочих нижних чинов, подслушивающих офицерския разговоры, из чего вытекало, что их командир единственный смело стоит за них.

Пока это имело положительную сторону. Поведение гусар было настолько безукоризненным, что за все это время пришлось посадить под арест за появление в нетрезвом виде на занятиях двух человек. О мелких провинностях сообщал перед строем, обычно добавляя безо всяких нотаций: «Чтобы больше не повторялось». Действительно, «оно» не имело повторных случаев.

За все пребывание в Сызрани я не пил, не играл в карты. Впрочем, и то, и другое имело в моей жизни случайный характер. На занятия являлся выпавшимся, свежим, энергичным, занимался с интересом, вникал во все. По службе был строг и требователен.

В сравнении с другими эскадронами, вероятно, служба в моем и тяжелее и строже, зато отсутствовали безолаберность, использование гусар в личных интересах, но главное – жизнь шла в открытую, без запуганности и затаенности. Прапорщик Тупоносов считал, что эскадрона нельзя узнать.

...Время наступило тревожное. Мы знали, что Государь еще в середине декабря выехал из Ставки в Царское Село, провел в окружении близких – Ея Величества и детей все Рождество и еще находился там. Говорили, что Он в постоянной заботе о больном Цесаревиче Алексее, но встречается с теми, кто занимает ключевые позиции в управлении госу-

дарством, членами Дома Романовых, людьми, сыгравшими видную роль в подавлении первой русской революции, делегацией межсоюзной военной конференции, послами Англии, принцем Румынии и так далее.

Но история со смертью Распутина с самыми невероятными комментариями распространялась по России, а революционная пропаганда делала свое сатанинское дело. В тыловых запасных воинских частях то тут, то там выявлялись вспышки.

В ближайшем к Сызраню Пензенском гарнизоне в январе, в запасном пехотном полку, произошло событие, производившее заметное впечатление на гусар маршевых эскадронов. Во время полевых занятий – маневров со стрельбой холостыми патронами в окрестностях города, у солдат оказались и боевые, которыми убили и ранили офицеров и фельдфебеля. Об этом полковник Золотарев доложил на офицерском сборе в одну из пятниц.

Начальство и офицеры запасного полка имели подавленный вид, да и многие командиры маршевых эскадронов не скрывали своего волнения. Мне подумалось, что если судьбе будет угодно повторить нечто подобное, произошедшему в Пензе, в нашем кавалерийском полку, то пусть не инициатором, то уж возбудителем инцидента будет выставлен штабс-ротмистр Карамзин, то есть я.

Сравнительное спокойствие держится лишь на старой дисциплине запасных и раненых, но преступная злоупотребления начальства так велики, что всему может наступить предел. Нет! Надо уматывать, пока не поздно!

...Получив отказ в печатях на телеграммы в полк, я написал письмо полковнику Скуратову, пространно и убедительно излагая свое положение с надеждой, что на этот раз он согласится, – единственным выходом является мой отзыв на фронт. А за рюмкой коньяка расскажу ему массу интересного о том времени, когда я состоял «вольнослушателем Арестанской Академии».

Письмо отправил в последние дни января и с нетерпением ожидал ответа.

VII. Станный поручик Фэ

Десятого февраля, рано утром, когда одевался, собираясь на занятия, Мухмадеев подал телеграмму. Местом отправления значилась станция Зегевольд.

Распечатывая, был уверен, что это ответ от полковника Скуратова на мое последнее письмо, и поразился, прочитав: «Командую Двадцать шестым армейским корпусом. Согласны быть моим личным адъютантом? Миллер».

Дорогой Евгений Карлович вспомнил обо мне и как во время! Это как Божья Милость снизошла на меня, – подумал я, и помчался домой, к Паше, чтобы поделиться радостью. Прочитал ей телеграмму, рассказал в общих чертах о своем здесь положении, пережитых неприятностей и о необходимости отсюда по-добру, по-здоровому убраться.

Затем составил две телеграммы – генералу Евгению Карловичу Миллеру: «Согласен. Командую эскадроном в Сызрани. Прошу ходатайства о замене. Карамзин». И в полк: «Согласился быть адъютантом генерала Миллера. Прошу замены».

Приехав в эскадрон и дождавшись приезда командира, понес телеграммы для печати. На сей раз он не посмел бы отказать, если бы узнал, что они являются ответом на запрос командира корпуса. Но решил еще раз испытать его строптивость, передал через адъютанта Тюменцева просьбу о печати, не давая ни миллеровской, ни своих телеграмм.

Получив и на этот раз отказ, выразил желание быть лично принятым.

Вошел в кабинет. Золотарев сидел за письменным столом посреди комнаты, против дверей. Держа листы бумаги в правой руке, а фуражку с перчатками в левой, и обе по швам, я подошел вплотную к столу и, щелкнув шпорами, поклонился.

Он, как бы оторвавшись от работы, привстал из-за стола и протянул руку. И тут вместо пожатия – сунул в его руку листы бумаги!

Лицо Золотарева покрылось красными пятнами, на лбу выступил пот. Заметно волнуясь, он, не поднимая на меня

глаз, прочел телеграммы. Затем сказал: «Можете быть свободны. Все получите у адъютанта».

Так аудиенция окончилась без единого слова с моей стороны.

Уже через сутки получил два ответа. Евгений Карлович Миллер сообщал: «Телеграфировал Скоропадскому Вас заменить. Две недели отпуска. Приезжайте Кимполунг. Жду.» А второй из полка, состоящий из двух слов: «Замена выслана».

Дома мы стали с Пашей подготавливаться к отъезду, а в эскадроне тем временем печатались всякия списки и все готовилось к передаче, процедура которой заняла бы не более трех часов.

От адъютанта Тюмянцева узнал, что генерал Скоропадский высылает от каждого полка дивизии по три офицера для принятия всех маршевых эскадронов Пятой кавалерийской дивизии.

Действительно, вскоре прибыли штабс-ротмистр Протасьев, Варпеховский и ротмистр Боборыкин, вернувшийся на войну в родной полк из запаса. Одновременно с ними приехали драгуны и уланы.

– Знаешь, Саша, ведь это ты все наделал, – сказал мне Всеволод Протасьев. – Когда Скоропадский получил телеграмму от Миллера о тебе, то в разговоре по телефону с Коленкиным поинтересовался, что сообщал Карамзин о подготовке маршей? Коленкин на словах, по твоим письмам, нарисовал всю картину.

Тогда Скоропадский буквально взбесился и пригласил к себе Коленкина и Скуратова и заставил читать твои письма, при этом хохотал до слез, беспрестанно вскрикивая: «Ах, подлецы! Вот твари! Но каков Кара-Мурза! Ну и молодец! Вот положение! Что же вы его отозвали? Еще немного и он бы совсем одичал! Но не все так смешно. Вместе с заменой пошлю командиров на все марши, а Золотарева возьму в оборот инструкциями и, вообще, припугну, как следует».

Наконец, я сдал эскадрон в командование штабс-ротмистру Протасьеву, он же получил мою квартиру с любезной хозяйкой и ея больной Варварой, избу и даже... сани с полным комплектом сбруи. Лошадей – Герольда и Зяблика оставлял не без грусти, предполагая вскорости выписать их к себе из штаба корпуса.

Получая в канцелярии документы и деньги на дорогу – так спешил, что совершенно упустил из виду взять «аттестат» – сведения о моих личных денежных довольствиях, что лишило получение жалования и прочих денег до самого лета...

С командиром полка, после последней аудиенции по поводу печатей на телеграммы, так и не виделся, отделяясь рапортами, и уехал, не прощаясь.

...Выехали мы с Пашей в Москву двадцать третьего февраля, оба веселые, счастливые, что покидаем Сызрань, как будто впереди не маячила разлука. Да и будущая служба у генерала Миллера в Двадцать шестом армейском корпусе в Румынии, представлялась тогда совершенно безопасной...

Я рассказал жене об Евгении Карловиче, его чудном характере, доброте, сердечности и расположении ко мне. И хотя он был намного старше, но в судьбах наших немало общего – окончил Николаевское кавалерийское училище после кадетского корпуса, что и я, так же произведен в корнеты и выпущен Лейб-гвардии Гусарский полк Его Величества.

Говорили мы с Пашенькой и о том, какая замечательная дана Евгению Карловичу Богом жена – Наталия Николаевна, «Тата», как ласково звал он ея.

Наталия Николаевна Миллер – родная внучка Наталии Николаевны Пушкиной, урожденной Гончаровой, и дочь генерала от кавалерии и генерала-адъютанта Николая Шипова, женатого на Софье Петровне, урожденной Ланской, имя и красоту свою унаследовала от всемирно известной «Натали»...

...В первую же ночь в поезде, когда уснула Паша, я вышел в тамбур покурить, растревоженный воспоминаниями. Летели навстречу огни вместе с хлопьями снега, прилипавшими к

стеклу окна, надвигалась темнота ночи и бежавшие по небу тучи закрывали звезды.

Под стук колес, несущих нас в неизведанное, из памяти неожиданно всплыла странная история, связанная с Евгением Карловичем Миллером, о которой, признаться, забыл.

Вот эта история...

...Летом пятнадцатого года штаб Пятой Армии, где я служил ординарцем при начальнике его генерал-лейтенанте Миллере, расположился в вагонах на станции Крейцбург, восточной стороне Двины.

Однажды войдя в вагон-столовую, когда все офицеры штаба собрались в обеду, и проходя мимо Евгения Карловича, был им остановлен.

– Познакомьтесь, – произнес он, – и показывая легким движением руки на стоявшего рядом офицера, назвал его.

– Поручик Фэ, а это поручик Карамзин, о котором мы только что говорили.

– Александр Александрович, – затем он обратился ко мне, – поручик пробудет у нас несколько дней. Прошу поместить гостя в своем купэ и позаботиться в остальном. А пока покидаю вас – уже собрались к обеду, – с этими словами Евгений Карлович направился к креслу, оставив поручика Фэ на мое попечение. Мне ничего не оставалось, как предложить незнакомцу место за столом рядом с собой.

Внешность этого человека и поведение с первой минуты показались странными. Бритая голова, круглое лицо без усов и, казалось, без бровей со светло-голубыми глазами, при отсутствии какого-либо выражения.

Роста он был среднего, плотный, с хорошо сколоченной фигурой. Но форма штабного офицера совершенно не соответствовала его манере держаться.

По моему наблюдению, он скорее дичился, нежели стеснялся, а говорил вообще едва слышным шепотом, как будто у него «перехватило горло», при этом с беспокойством озираясь на окружающих, как бы боясь быть услышанным. Попытки заговорить с ним не удавались, а во-

прос, откуда он к нам прибыл, мне показалось, смутил и даже испугал.

И все же через некоторое время, как бы придя в себя, поручик Фэ прошептал, наклонившись за столом к самому моему уху, что «генерал Миллер посоветовал ему во всем мне довериться».

Почувствовав, что за обедом на мои вопросы отвечать он не горазд, я стал шутить по поводу всяких пустяков. Слушал он со вниманием и на несколько минут даже перестал есть.

Несколько раз, поднимая глаза, взглядывал на Евгения Карловича, и заметил, что тот тоже время от времени смотрит в нашу сторону...

После обеда мы пошли с поручиком в полу-купэ, соседним с моим. Но когда предложил послать денщика за его вещами, тот попросил не утруждать последнего, и голос при этом звучал странно-умоляюще.

Затем сам поднял предназначавшееся для него верхнее место, заглянул под нижний диван, внимательно осмотрел стены, а выглянув в окно, несколько минут молча изучал видимое из него.

Всякое бывало в моей жизни, – подумал я в те минуты, – но прожить несколько дней один на один с сумасшедшим, – это уж слишком!

В это время поручик любезно попросил проводить его в вагон начальника штаба за чемоданом. Сам принес и долго обдумывал, где поместить – на сетке или в головах своей кушетки.

Стелились они железнодорожным бельем, и когда Мухмадеев, которого я все же послал против желания странного поручика принести запломбированный мешок с подушкой и простынями, стал стелить, то Фэ взял мешок, подошел к окну и так внимательно стал его разглядывать, что и представить раньше не мог – как возможно так долго изучать пустой мешок из-под белья!

Куда бы я ни шел – он вежливо спрашивал, может ли меня сопровождать и не отставал ни на шаг.

Черт возьми! Уж не контрразведка ли меня в чем-то подозревает? – подумал я, связывая эту мысль с его штабной формой. Шел опускать письма – он за мной, в соседний вагон – он туда же.

Наконец, не выдержал и сказал однажды утром, что пользуясь свободным временем, пожалуй, проедусь верхом. Но когда тот увидел, что со мной собирается вестовой, немедленно стал проситься ехать на лошади вестового. Пришлось взять.

Всю дорогу молчал, но и у меня не было желания с ним разговаривать. Вернувшись, сказал ему, что должен пойти к начальнику штаба. Вот тут-то, наконец, мне удалось оторвать его от своей тени.

Евгений Карлович находился в салон-кабинете. Увидев меня, улыбнулся:

– Как вам понравился ваш новый компаньон? Еще не рассказывал о себе? – Нет, – говорю, – молчит, и просто преследует меня по пятам. – А Вы, Ваше Превосходительство, знали, что он сумасшедший?

Генерал все прослушал с улыбкой, а на заданный мною вопрос разсмехался:

– Могу вас успокоить. Поручик в здравом уме, правда, немного нервно разстроен. И это понятно. Пару дней тому назад он вернулся из Берлина, где провел несколько лет, в том числе более года войны. Конечно, фамилия его вымышленная и это даже не первая буква ея, но настоящей вы от него не добивайтесь. А о своей жизни в Германии расскажет.

Заметив мое удивление, Евгений Карлович добавил:

– Не ожидали, что я могу познакомить вас с таким интересным человеком?

– Ваше Превосходительство, но он в купэ у меня ведет себя, как в Берлине!

На эти слова Миллер разсмехался и хлопнул меня по плечу:

– Ничего, Саша, потерпите и войдите в его положение. Это просто реакция на пережитое. Служил в разведке, был разоблачен и только быстрое решение и его исполнение, спасли от неминуемого разстрела.

На этом и закончился наш разговор с Евгением Карловичем, снявший неприятное чувство таинственности, столь меня смущавшей.

Когда вернулся в свое купэ, то поручик Фэ, стоявший у окна, сразу поинтересовался:

– Что говорил обо мне генерал Миллер?

Я ответил, что говорил начальник штаба кратко, подробного рассказа жду от него самого.

Гость мой как-то сразу приободрился. Особенно изменился голос, в котором появились «металлические» нотки и внезапно исчезло все то, что производило странное впечатление. Затем поинтересовался, располагаю ли я свободным временем для прогулки?

Мы оделись, вышли из вагона, пошли по путям и далее к semaфору. Когда отошли на значительное расстояние и он, оглянувшись, убедился, что никого поблизости нет, вымолвил:

– Расскажу о себе, что могу, но уточнений не требуйте. И причины тому должны быть понятны.

Итак, слушайте. Я – офицер одного из гусарских полков. До войны, больше чем за год, жил в Москве. Там состоял в одном обществе – Клубе теннисистов. В теннис играю хорошо с детства, можно сказать, первоклассно. Иногда вступал в игру с людьми, познакомившись прямо на корте. Причем, всегда отличался наблюдательностью и хорошей памятью.

Однажды мне и моему другу пришлось играть с двумя приехавшими гостями в Москву из Риги и Петербурга. Они представились случайными партнерами, играли оба преотменно, но выиграли все-таки мы.

Еще во время игры мне почему-то показалось, что они давние знакомые – по взглядам, жестам, отрывочным фразам или по чему-то другому, неуловимому.

Закончив игру, мы сели на веранде за столик и заказали лимонад. Разговорились.

Приехавший из Риги, отрекомендовался прибалтийским немцем, да и фамилия у него была немецкая. Он сказал, что

окончил в Германии политехникум и направляется в Центральную Азию на железнодорожную службу. Говорил с немецким акцентом, хотя, как заметил, незначительным.

Второй, из Петербурга, назвал русскую фамилию и из дальнейших разговоров выяснилось, что он сын богатого торговца лесом, а окончив дома гимназию, высшее образование получил за границей, откуда недавно и вернулся.

Однако, что-то в их поведении меня насторожило. Да вы и знаете сами – военную выpravку скрыть невозможно, и она от меня в их облике не ускользнула.

Ничего общего в то время с военной разведкой я не имел, однако, счел своим долгом передать свое впечатление от двух «заезжих теннисистов» генерал-лейтенанту Миллеру, в то время начальнику штаба Московского военного округа.

Наша разведка установила за ними наблюдения и, опуская некоторые детали, сразу скажу – оба оказались германскими офицерами, а по перехваченным у них донесениям, выяснилось окончательно их разведывательная работа. Одного арестовали, а другому удалось ускользнуть...

Генерал Миллер, обратив с того случая внимание на мои способности, однажды вызвал и предложил разведывательную службу.

Работа в разведке казалась мне подходящей по душе и, взвесив все остальное, тотчас согласился, ибо обстоятельств, делающих самых способных людей все же непригодными к этой службе, у меня не было. Я одинок, семьи не имею и склонностей к женщинам тоже. А в разведке, если вы еще не знаете, это два главнейших условия для работы. С усердием принялся за подготовку. Для приобретения практики, служил даже в уголовном розыске, исполняя поручения, исходящие непосредственно от начальника Московского уголовного розыска Кошко. Познакомил меня с ним тот же Евгений Карлович, но моя работа была известна только ему одному.

Быстро освоился с делом и, надо сказать, что удача не покидала меня в это тревожное предвоенное время...

Кошко, не будучи осведомлен, к чему, я собственно готовлюсь, предлагал мне вескую рекомендацию на получение должности начальника уголовного розыска одного из округов. Я не отказывался и в то же время не давал своего окончательного согласия.

Так прошло полгода. Явившись однажды с аудиенцией к генералу Миллеру, заявил, что готов выполнить любое задание. На вопрос, чтобы я хотел сам, ответил, что желательно выполнять задания, находясь в Германии.

...Появился я в Берлине с особым заданием за год до начала войны. Приехал «шведом», владельцем небольшого писчебумажного магазина. Надо сказать, что по своему происхождению шведским языком владею в совершенстве и прилично немецким.

Магазин находился в самом «чопорном», аристократическом районе столицы Германии, а товары, главным образом, почтовая бумага, красивая, но дорогая, поставлялись мне из Швеции.

Принимал и заказы на тиснение бумаги золотыми инициалами и фамильными гербами. Заказы исполнялись в Швеции через контору, тоже принадлежавшую одному из наших офицеров. Деловая переписка и всякого рода счета являлись одновременно шифрами донесений и заданий.

Магазин стал популярен в высшем обществе и среди гвардейских офицеров. Кроме того, я попрежнему состоял членом в двух теннисных клубах – одном «коммерческом», а другом – «средней руки», где бывали офицеры этого же класса.

К началу войны я был как говорится, «во всеоружии». С того дня и началась моя разведовательная служба...

Вы понимаете, что рассказывать могу только о себе. От меня получено много ценных данных. Столицы, как известно, болтливы, однако, надо уметь отличать сведения от обычных сплетен.

Мне это удавалось. Проверка услышанного или замеченного существует «перекрестная». Первые сведения шли ко мне от коммерсантов, играющих в теннисном клубе. Среди

игроков нашлись и армейские офицеры, а главное, «вольноопределяющиеся», имеющие деловые отношения с воинскими частями и интенданством, а также владельцы военных спортивных магазинов и изделий офицерского обслуживания. Многие, слишком многие строили свое благополучие около воюющей армии!

Получив «тему», проверял ее в кругу своих клиентов – гвардейцев и особенно их родственников. И еще в офицерском клубе. Там легче всего оказалось узнать даже данные о переброске войск и их сосредоточении. И, конечно, о призывах, формированиях и назначениях, труднее – о намеченных операциях.

Продолжалось так более года. За это время несколько раз побывал в Стокгольме. Но эти поездки вызывались даже не необходимостью разведки под видом торговли, а все чаще возникающим чувством, что за мной установлена слежка.

Конечно, вел я себя безукоризненно, и даже привык к своей жизни и новому положению, не помышляя даже прервать разведовательную службу, если бы не один случай.

В один из дней, придя в «клуб средней руки», лицом к лицу столкнулся с тем «из Риги, прибалтийским немцем» – московским теннисистом, подозрение о котором высказал когда-то генерал Миллеру.

Я только что окончил игру, шел с площадки к выходу, когда на соседней началась игра. Шел вдоль сетки, нас разделяющей, и увидел его в нескольких от себя шагах.

Не могу сказать с уверенностью, узнал ли он меня. Может быть, и узнал, но не подал виду, как поступил и я.

Затем прошел спокойный шагом в комнату для переодевания, все еще не теряя самообладания, сменил костюм, беспрепятственно вышел из клуба и нанял автомобиль. Через несколько минут дома собрал чемодан, а еще через полчаса удалось выехать поездом в Данию, и далее в Швецию.

Должен сказать правду, что пока не очутился в Дании, нервы мои были натянуты, как пружины и, казалось, могут

лопнуть. Разбираясь в деталях нашей мгновенной встречи – все же приходил к выводу, что он меня узнал...*

VIII. «Золотая рыбка»

...Возвращаюсь в вагон на пути в Москву.

Мы ехали с женой из Сызрани в Москву, чтобы расстаться на неопределенное время, а помня, что идет кровопролитная война, быть может, и навсегда. Но молодости не дано печалиться, и наши воспоминания о первых месяцах любви, по-прежнему дышали радостью и счастьем, не успев еще поддержать грустью от сознания предстоящей разлуки, хотя, как понимаю сейчас, вызывались под стук колес именно ею...

Человеком, который сыграл тогда в нашей общей с Пашей судьбе наипервейшую роль, моей «золотой рыбкой» стал милейший, до слез трогательной доброты, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества граф Илья Леонидович Татищев.

Познакомились мы в штабе Пятой армии, которой командовал до перевода на северо-западный фронт генерал от кавалерии Павел Адамович Плеве. Произведен он в офицеры из Николаевского кавалерийского училища и турецкую войну прослужил ротмистром кирассирского полка Его Величества.

Генералу «стукнуло» уже восемьдесят два года. По всей России по старости службы равнялся ему всего лишь один человек и тот гражданский – председатель Государственного

*На этой фразе глава «Странный поручик Фэ» обрывается. И не столь значительной показалась мне фигура самого русского разведчика, настоящее имя которого историки, занимающиеся Первой мировой войной, вряд ли уже узнают, но упоминание о разведывательной службе генерала Е.К. Миллера. А.А. Карамзин знал его многие годы и достоверность материала, найденного в архиве, и написанного от руки, не подлежит сомнению.

В рассекреченных же документах бывшего НКВД, опубликованных впервые в альманахе «Дворянское собрание» (N2, 1995 г.) под заголовком «Похищение генерала Е.К. Миллера», об этой стороне его деятельности не говорится ни слова – ТЖ.

Совета Куломзин. Но будучи выдающимся стратегом, генерал и в эту войну не однажды показывал невероятной силы волю и упорство, когда назначался Главным командованием спасать положение, проигранное другими.

Служба же начальника его штаба генерала Миллера была исключительно тяжелой. Павел Адамович смотрел на всех, в том числе и на Евгения Карловича, как на мальчишек, и требовал невероятной четкости исполнения приказов, словно командир эскадрона у нижних чинов. Начальник штаба нес на себе не только все нелегкие обязанности, присущие должности, но и помогал командующему, как мог – был своеобразной «записной книжкой», дневным и ночным чтецом донесений, и даже... нянькой, а потому уставал ужасно.

В это время граф Татищев и приезжал к своему другу, чтобы хоть как-то развлечь в свободные минуты, а за ужином и чаем, – обедали все у командующего, включительно до дежурных ординарцев, – создать хоть ненадолго домашний уют без разговоров на военные темы.

Илья Леонидович окончил Пажеский Его Величества корпус, произведен в офицеры одновременно с Евгением Карловичем Миллером и Василием Иосифовичем Ромейко-Гурко и выпущен в Лейб-гвардии Гусарский полк, когда там служил Наследник Престола Великий Князь Николай Александрович.

С началом войны вернувшись из Германии, где состоял в свите Императора Вильгельма II представителем Свиты Его Императорского Величества, все годы со дня кончины Великого Князя Владимира Александровича, у которого служил адъютантом, он был в личном распоряжении Государя...

Мне не дано Господом Богом до сих пор знать о последних днях этого святого человека, впоследствии оставшемся при Высочайшей Семье до Их ужасного конца и сложившего голову вместе с Царственными Мучениками,* но знаю одно – Государь не ошибся в графе Татищеве, ведь страдания

* И. Л. Татищев расстрелян в Тобольской тюрьме 10 июля 1918 года. – Т.Ж.

Его Величества порождала не только революционная среда, но и предательство тех, кто издавна пользовался Монаршей милостью.

Среди других, наиболее близких людей Государю до отречения от Престола был друг детства, «Кира», флигель-адъютант Кирилл Анатольевич Нарышкин, начальник Его личной военно-походной канцелярии.

Перед отъездом в Тобольск, Государю дали возможность взять с собой несколько человек – Он выбрал Нарышкина. Когда последнему объявили желание Его Величества – тот попросил «двадцать четыре часа на размышление». Государь не стал ждать и предложил ехать с собой графу Татищеву.

Илья Леонидович немедленно ответил согласием. Когда его отделили от Царской Семьи и заключили в тюремную камеру вместе с камердинером Ея Величества Алексеем Андреевичем Волковым, чудом оставшемуся в живых, может быть, потому, что был «из крестьян», то говорил ему: «На такое Монаршее благоветение у кого и могла позволить совесть дерзнуть отказать Государю в тяжелую минуту? Было бы нечеловечески черной неблагодарностью за все благодеяния идеально доброго Государя даже думать над таким предложением, – нужно считать его за счастье».

Рассказывали мне и другое, что Керенский, давая позднее показания по делу об убийстве Августейшей Семьи, так отзывался об Илье Леонидовиче: «Граф Татищев держал себя вообще с достоинством, как должно, что тогда в среде придворных – редкое исключение».

...В тот памятный приезд в Крейцбург, он расположился в купэ, соседним с моим. Встречались каждый день, но я немного дичился и разговор, кроме обычного приветствия, ограничивался несколькими фразами. Он сам пошел мне навстречу, предложив однажды прокатиться.

С этой первой совместной прогулки верхом на лошадях, наши отношения стали дружескими и простыми, а затем перешли в не делающую различия в положении и возраст

те дружбу, хоть Илье Леонидовичу стукнуло уже пятьдесят шесть, а мне всего лишь двадцать два. Однако, на «ты» мы не переходили.

Он живо интересовался Карамзинской родословной, расспрашивал о родителях, братьях, деде Андрее Николаевиче – сыне Историографа, коренном Александрийце, по стопам которого пошел я. Любил слушать наши семейные истории, в том числе о Федьке Голубеве, о Тимофеевиче, о жизни в Полибино, охоте и, конечно же, о сослуживцах из эскадрона Ея Величества.

Сам генерал оказался прекрасным рассказчиком, остроумным, находчивым, при этом слегка грассировал.

Германия – это особая страница русской истории, описать которую мог лишь он, русский граф, имея такое высокое положение при германском императоре и короле прусском Вильгельме.

Запомнился мне один рассказ, связанный с именем Петра Аркадьевича Столыпина. Правда, это случилось не в Германии, а в финских шхерах, на яхте «Штандарт», куда только что назначенный Главой правительства Его Императорского Величества, тот прибыл с докладом к Государю...

Кстати, от Ильи Леонидовича я впервые узнал, что Столыпин происходил из древнего дворянского рода, подобного нашему, карамзинскому, который впервые упоминается в шестнадцатом веке. Его дед Дмитрий, дослужился до чина генерал-адъютанта, сестра деда, Елизавета, вышла замуж за Арсеньева, а их дочь Мария – за Юрия Лермонтова. Так что их сын, великий поэт Михаил Лермонтов и Петр Аркадьевич Столыпин происходили из одного рода...

Когда Столыпин прибыл на яхту, он обратил на себя внимание всех – высокий, светлый, статный – красавец собой. Вильгельм II, находившийся там же, пораженный не только его истинно русской красотой, но и умом, и обаянием, сказал Илье Леонидовичу следующее: «Вот если бы у меня был такой министр – я покорила бы всю Европу».

Однажды Татищев вспомнил забавный случай из «заграничной службы»:

– Когда началась война, которую мы совсем не ждали, на меня напало мальчишество, захотелось сделать какую-нибудь чисто мальчишескую пакость. И я развесил в уборной своей квартиры все германския и австрийския ордена со всеми лентами – получилось красиво!

Говоря это, Илья Леонидович кашлянул и прихлопнул себя правой рукой по боку – то была его привычка. Лицом он напоминал мне Волю Еселева, моего родственника, только с более тонкими чертами. Совершенно такие же усы и борода, как у Воли, и зачес назад волос такой же, некогда рыжеватых и превратившихся в седые.

При этом цвет лица, седина и добрыя серья лучистыя глаза, создавали впечатление светлаго ореола вокруг его головы...

Одевался Илья Леонидович безо всякой претензии на фасон, как будто шил не у портного, а в швальне захолустнаго пехотнаго полка. Но с такой благородной, поистине графской осанкой и манерами носил эту форму, что тогда я понял – дело не в моде или фасоне и, любуясь, стал подражать ему.

На обедах за столом у командующего мы, обычно, весело перемигивались и кивали на кого-нибудь из сидящих, подшучивая над ним. Похоже, что мое общение тоже его вполне устраивало, а мальчишество, что находилось в его крови до седых волос, находило во мне достойную поддержку, не говоря уже об обоюдной склонности к шалостям.

Но с прибытием на пост командующего армией Василия Иосифовича Ромейко-Гурко, человека по натуре педантичнаго и суховатаго, обеда прекратились, вошли в расписание, так называемые, чаепития.

Присутствовал на них непременно Евгений Карлович Миллер вместе с Ильей Леонидовичем Татищевым в качестве почетнаго гостя, генерал квартирмейстер Черемисов, имя котораго запомнил, командующий с адъютантами – Арнгольдом и Араповым.

Мое присутствие, как старшаго ординарца штаба, бывшаго в командировке, считалось обязательным. К тому

же, если начальник штаба Миллер докладывал собравшимся военную обстановку на данный день, то я указкой показывал на большой карте, висевшей тут же на стене в вагоне-салоне, перечисляемые им объекты.

Но и на чаепитиях поначалу настроение молодых от присутствия Василия Иосифовича поддегивались ледышкой. Однако Илья Леонидович сумел «растопить лед» и в пару дней общий разговор приобрел былую легкость и раскованность...

Постучался к Илье Леонидовичу однажды в купэ и услышал знакомое: «Да!» Сидит на диване, ноги калачом, в руках маленькая книжица величиной в два спичечных коробка. Заложил ее кончиком пальца, поднял на меня свои светлые детские глаза.

– Что это у вас за книжечка, Ваше Превосходительство? – полюбопытствовал я и добавил, что первое пришло в голову:

– Смахивает на шпаргалку.

Он расхохотался.

– Эта книжечка, дорогой мой, мала, но дороже всех книг в мире.

И показал мне крохотное Евангелие. Четыре таких книжицы в тисненых синих лайковых переплетах вкладывались в футлярчик из той же кожи. Я тут же, с детства увлекаясь рисованием, изобразил на чистых листах каждой из них то, что положено евангелисту – человека, тельца, орла и льва.

Печать в Евангелие была слишком мелка и я поинтересовался:

– Смею спросить, Ваше Превосходительство, а как Вы читаете без очков?

– А я помню текст наизусть и просто держу ее в руках. Как это вы изволили выразиться?

– Как шпаргалку.

– Вот-вот, как «шпаргалку», – и снова засмеялся.

– Вам оне нравятся? Эти не отдам, то подарок-благословение моей покойной мамá. Но подарю непременно вам такая же.

И, действительно, через неделю он мне их вручил с советом читать, чаще думать о прочитанном и стараться делать в жизни все, что возможно, по Евангелию...

Когда же мне хотелось увидеть Пашу – побывать в Москве, а я был ее женихом в то время, хотя и не объявленным, о чем, конечно, поведал Илье Леонидовичу, то приходил к нему и говорил следующие слова:

– Я к Вам, Ваше Превосходительство, как к «золотой рыбке».

И хотя он делал вид, что сие в данный момент совершенно невозможно, но после ужина меня обычно отзывал к себе Евгений Карлович и с деловым видом сообщал о необходимости «срочно» доставить в штаб Московского округа пакет с документами, чаще всего в архив. На поездку давалась неделя.

Пакет принимал от Миллера, а шел благодарить за возможность вырваться в Москву Илью Леонидовича. Тот делал удивленный вид при появлении в дверях моей глупосияющей молодой физиономии и уверял, что знать ничего не знает и ведать не ведает, при этом радостно улыбался.

После обеда граф обычно курил маленькие сигары. Запомнив марку – «Юпмен», привез для него коробку из Москвы. Он не на шутку смутился: «Первая взятка в моей жизни и та неудачная, – вы бы уж лучше деньгами», – и мы оба разсмеялись.

Благодаря «золотой рыбке» за один только год я побывал в московской командировке девять раз и провел там Рождество пятнадцатого года...

А свои книжицы, подаренные мне Татищевым, оформил такими же рисунками и возил с собою в нагрудном кармане всю войну. При одном взгляде на них, я слышал его напутственные слова – «жить по Евангелию» и передо мной вставало чудное, полное доброты и света лицо Ильи Леонидовича.

...Я отвлекся и вспомнил о людях, светлый образ коих храню в памяти и сердце...

IX. Прощание с родным Ея Величества эскадронном

Единственный день моего пребывания в Москве прошел в сговорах об устройстве Паши. Она должна была оставаться в доме моих родителей даже после отъезда на лето всей семьи в деревню, в Козловку, в ожидании срока родов...

Московский Виндавский вокзал – объятия, слезы, еле сдерживаемые сквозь улыбки, обещания «беречь» себя, «не подставлять под пули», тревога за Пашино состояние, не скрываемая мною, – все слилось в одно слово «Прощай!» – едва ли на короткий срок.

Вагон тронулся, задвигались колеса, сначала медленно, потом быстрее, а я еще стоял у открытой двери тамбура, держа, сам не зная отчего, на вытянутой руке фуражку, а Паша все махала белым шелковым платком – белое светлое пятно среди мрака ночи.

Но и оно исчезло...

Мухмадеев, как всегда бережно и аккуратно, разложил мои вещи по сетчатым полкам, поднял верхнее спальное место, растелил белье, и тут же ушел в соседний вагон третьего класса, где устроился с гусаром нашего полка. От него мы узнали, что дивизия бригадами поочередно занимает окопы, и что в настоящее время в окопах находится вторая бригада, а следовательно, наш Александрийский полк Ея Величества.

Как всегда, при отъезде на фронт, заработали два клубка мыслей – один разматывающийся, другой – наматывающийся, оставляемое и приближающееся. Второй вскоре начал разрастаться, заняв полностью все мои мысли.

А потом, не заметив, как он оборвался, заснул...

...На станции назначения, где высадились, уже стояла бричка, ожидавшая из Риги нашего казначея, штабс-ротмистра Владимира Кондоиди. Мухмадеев погрузил в нее вещи и через полчаса, с появившимся казначеем, мы уже ехали в Штокмансгоф – место расположения штаба полка.

Володя живо интересовался моей «сызранской историей», но у меня не было охоты рассказывать по дороге о пережи-

том, и я посоветовал ему выслушать доклад командиру, который собирался сделать немедленно по приезду.

Он сообщил, что мы должны застать полковника Константина Николаевича Скуратова, моего брата Василия Карамзина, заменяющего уехавшего в Петроград поручика Ивана Леонидовича Кудряшова, что Готгард Федорович Беккер тоже там же, и вместе они должны вернуться завтра-послезавтра в полк, а со спешенными эскадронами в окопах штабс-ротмистр Владимир Васильевич Доможиров. Поговорили и о всяких переменах в полку за время моей командировки...

Все собрались в столовой за обедом, когда я отрапортовал Лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полковнику Коленкину о прибытии и, поздоровавшись со всеми, сел за предложенное место за столом.

Александр Николаевич Коленкин слышал плохо, а потому попросил меня сесть с ним рядом, а Васю подвинуться:

– Ну-с, выпьем по рюмке водки за здоровье вновь прибывших, да послушаем, как Карамзин-первый дошел до жизни такой. Рассказывайте, как знаете, такая история, как Ваша с Золотаревым, официально не докладывается. И не забывайте, что вы за столом в родном полку, к тому же голод – не тетка, а щи хороши и не из сызранской капусты.

Полковник Скуратов, сидя напротив, не мигая, смотрел на меня, покачиваясь при этом из стороны в сторону и перебивая руками по столу.

Я знал, что это означает и, встретившись с ним взглядом, улыбнулся.

– Ах, ты рожал! – произнес неожиданно он и налил себе и мне рюмки. Мы чокнулись, выпили и одновременно перевернули их. «С чего же начинать?» – подумал я и спросил его об этом.

– Ну ясно, начинай с капусты, – улыбнулся он.

Я принялся рассказывать и чтобы звучало смешнее – самым серьезным тоном, не допуская выражений с оттенком юмористичности.

Александр Николаевич то и дело бросал вилку, подносил руку чашечкой к уху. Тогда я четко повторял последнюю фразу. Лица сидящих за столом оставались серьезными, а у Скуратова даже начался тик правой ноздри и позеленел нос – признак гнева.

Затем вдруг мой рассказ покрылся таким взрывом хохота, что мне пришлось остановиться и заняться едой. Брат Василий, умевший посмеяться, даже стонал от смеха, а слезы катились у него по щекам.

Особое впечатление на всех и скачок от негодования к безудержному смеху, произвела «сцена с рукопожатием». В течение двух дней, проведенных мною в штабе полка, Костя то и дело вспоминал, как в протянутую для пожатия руку, я сунул бумагу. Он смеялся, повторял, что «этот номер» – лучший из всего моего пребывания в Сызрани, и что «такие вещи» «удаются» раз в жизни.

– Ну, расскажи еще раз, как ты это сделал? – повторял он.

– Так же просто, как опускают письмо в почтовый ящик, – отвечал я.

– Ведь и придаться нельзя – человек пришел подать бумаги, ну и подал, – и отмахиваясь руками, начинал смеяться до упаду.

– Конечно, Саша, все это хорошо, но все-таки... сверх всех правил, – говорил мне Вася. Ему, как старшему брату, становилось, вроде, не по себе.

– Пожалуйста, не учи его глупостям, – с недовольным видом вмешивался в разговор Скуратов, – он сам дошел до всего, ведь с бумагой... ну кому в голову придет? – и опять смеялся.

Этому боевому полковнику, оставшимся на всю жизнь при любых сложнейших ситуациях озорником-корнетом, мои шутки так нравились, что я никогда не получал от него выговоров, а наоборот, одни поощрения. И сам он, будучи в настроении что-либо «отколоть», неизменно искал моего содействия.

Весь мой рассказ прошел с одобрения друзей под заголовком: «Как Саша командовал эскадронам в Сызрани».

...Уже на следующий день я, оседлав лошадь, под непрекращающимся огнем противника, поехал к окопам, где в «лисей норе» – вырытом убежище-землянке собрались по случаю моего прибытия все офицеры нашего эскадрона. Пришлось по их просьбе, и под грохот артиллерии, рассказать всю историю Топоркову и остальным.

Пройдясь по окопам, попрощался с гусарами. В мое отсутствие или временное командование, меня заменял обычно корнет Осоргин, и теперь он становился постоянным офицером второго взвода.

– Возвращайтесь, Ваше благородие, – сказал он мне при разставании, – скоро немцев погоним – конные дела будут.

Я обещал, решив для себя, что обязательно вернусь. Да я и не собирался быть переведенным на новую должность, а числиться лишь командированным, что не лишало права в любой час вернуться обратно. Кроме того, оставался «в очереди по старшинству» на командование, тая надежду получить в свое время родной Ея Величества эскадрон.

...Пообедав с друзьями и повидав кое-кого, возможно, в последний раз, вернулся в штаб полка. Но чувство, что от сердца открывается любимое-родное, долго не покидало меня...

В день отъезда приехали из Петрограда Беккер и Кудряшов, рассказывали о том, что в столице нехорошо, тревожно, настроение как перед грозой – пахнет большими беспорядками. Их рассказы подействовали на всех. Чтобы как-то приободрить, я неловко пошутил, конечно, в отсутствие Беккера:

– Наверное, какой-нибудь раненый с неподжившей рукой не отдал чести Готгарду – вот ему и показалось, что началась революция.

Похохотали, но не особенно.

...Из полка я направил свой путь прямо на юг, на Румынский фронт, в Кимполунг, к генералу Евгению Карловичу Миллеру...

*Публикация Т. Жилкиной на основании материалов из семейного архива Карамзиных, любезно переданных ей А.А. Карамзинным.
Сан-Франциско-Москва.*

Виктор Дзансолов

**«Под небом стран,
давно оставленных богами...»**

В начале девяностых годов ушедшего столетия мне довелось с друзьями-музыкантами совершить ряд поездок в Швейцарию и прожить там удивительную, наполненную приключениями жизнь уличного музыканта или баскера.

Надо заметить, что в странах Европы уличное музицирование не является каким-то предосудительным, вызывающим к себе пренебрежительное отношение занятием и, тем более, никем не воспринимается как нищенство. Напротив, европейцы считают, что артисты, выступающие на улицах и площадях, в подземных переходах и на вокзалах, вносят неоценимый вклад в культурную жизнь их стран.

И нужно сказать, что большинство приезжих баскеров зачастую являются профессионалами высочайшего уровня, и попадают на улицу не столько в целях улучшения своего материального положения, сколько из желания попутешествовать и посмотреть на мир изнутри.

Со временем воспоминания об этих поездках превратились в стихи.

* * *

*Мы улетали из Москвы и Петербурга,
Чтобы увидеть рю де Бург и Монпарнас,
Благодаря за всё судьбу и Демиурга,
Окно в Европу приоткрывшего для нас.*

*Мы пели песни в атмосфере театральной
На площадях Мадрида, Рима и Бордо,
На тихих улочках Швейцарии нейтральной,
И в страшном грохоте парижского метро.*

*Мы улетали за свободой и деньгами,
Мы рвали струны балалаек и гитар
Под небом стран, давно оставленных богами,
Где оказался горьким сладкий дым сигар.*

*Судьба капризная играла с нами в прятки,
Звучала музыка и была жизнь ключом.
Мы улетали из России без оглядки
И возвращались, не жалея ни о чём.*

* * *

*Опять в Монтрё туман клубится белый,
На склонах гор ромашки отцветают,
И виноград сияет гроздью спелой,
В Женеву самолёты прилетают.*

*В Шильонском замке снова экскурсанты
По комнатам пустым уныло бродят,
А русские бродяги-музыканты
С весёлой песней к озеру подходят.*

*Поют о том, как ехали на тройке
Дорогой длинной, ночью, из Рязани,
Но из-за этой самой «перестройки»
Вдруг оказались в солнечной Лозанне.*

*В порту Уши сегодня представленье.
Похоже, с русскими удача дружит.
Толпа в восторге. Светопредставленье!
И даже чайки как-то странно кружат.*

*Блажен тот день, когда в песок Ривьеры
Ты шпиль вонзил басовой балалайки, –
Король вокзально-уличной химеры
В носках дырявых и потёртой майке!*

* * *

*Виноградная лоза,
Целомудренная Анна,
Узнаю твои глаза
Изумрудная Лозанна.*

*Безрассудная жена,
Легкомысленная Ева,
Красотой окружена
Беззаботная Женева.*

*И в букетах свежих роз
Утопает наш отель,
Спит вдали от бурь и гроз
Тихий город Невшатель.*

* * *

*Страна озёр и полицейских,
Отелей, банков, нежных роз,
Весёлых женщин европейских,
Влюблённых в песню «про мороз».*

*Страна бродячих музыкантов,
Старинных замков и мостов,
Туристов, гидов, экскурсантов,
Авантюристов всех сортов.*

*Страна подземных переходов,
Тоннелей, гротов, родников,
Пьянящих неземных восходов
Средь гор и тающих снегов.*

*Страна причудливых фонтанов,
Часов, трамваев, облаков,
И двадцати шести кантонов,
Освобождённых от оков.*

*Тебе свободу дал навечно
Когда-то русский царь, а я –
Пою на улицах беспечно
Твоих столиц, Швейцария!*

Вечерний звон

*Город Цюрих. Фрайерштрассе.
Балалайка – три струны.
«И почём сегодня в кассе
Песни гибнущей страны?»*

*Тридцать франков? – Многовато!
Как поют «Вечерний звон»! –
Заработают ребята
На студийный микрофон!»*

*От «Калинки» до «Катюши»
Три минуты, и – финал,
Потревожим немцам души
И умчимся на вокзал.*

*Аромат струится тонкий
«Подмосковных вечеров»,
Долго тает голос звонкий
Между каменных домов.*

*Тесен уличный регламент,
Звон в небесной синеве...
И расстрелян был парламент
Этим вечером в Москве...*

Октябрь 1993 г.

Баскер*
Баллада об уличном музыканте

*Я помню крик озёрных чаек
И вкус лозанского вина.
Под переливы балалаек
Бежала к берегу волна.*

*Летели франки, лиры, марки
В потрёпанный гитарный кейс.
В ладоши хлопали швейцарки,
И яхты уплывали в рейс!*

*И, окрылённые успехом,
Мы звонко пели на лугу,
И песня отзывалась эхом
На том, французском берегу.*

*Женева, Цюрих, Берн, Лозанна –
Свободных граждан города,
В плену у русского баяна
Вдруг оказались на года...*

*Мой друг женился на швейцарке
И позабыл про свой баян.
Он курит тонкие сигарки
И до сих пор от счастья пьян.*

* Уличный музыкант

*Он говорит, что вышел в люди,
Но в тёплой клетке золотой
Живёт в тени своих прелюдий.
«О, жизнь, не уходи, постой...»*

*И вновь на базельском вокзале
Моя гитара чуть слышна,
Но я пою, и в шумном зале
Вдруг наступает тишина.*

*Из Рима, Лондона, Парижа
Спешат куда-то поезда,
А я пою девчонке рыжей:
«Гори, гори моя звезда!»*

*Я жил в Люцерне и Лозанне,
Под маяком Женевским спал,
Купался в голубом тумане,
Романсы русские играл.*

*Я пересёк тебя стократно
Смешная милая страна,
И завтра улечу обратно
В Москву, где ждёт меня жена.*

*Горят огни бессонных банков,
Летят часы, бегут года.
Вечерний звон швейцарских франков
Я не забуду никогда.*

*И звонкий крик озёрных чаек,
И вкус лозанского вина,
Пассажи пьяных балалаек,
Мечты, которым грош цена...*

Рона

*Сегодня так много мелодий и солнца,
Весь воздух пропитан их смесью хмельной,
И город, сияя улыбкой японца,
С холмов наблюдает за синей волной.*

*Под сенью дубравы, под девственной кроной,
С гитарой на сонной женеvской траве,
Лежу и люблюvь красавицей Роной,
Слегка отражаясь в её синеве.*

*Гнездятся в ветвях соловьиные орды,
Поют о любви, и хоть мне не с руки,
Но я на лету подбираю аккорды
К мелодиям звонким счастливой реки!*

В ювелирном магазине

*В немом мерцании витрин,
Среди изысканных камней,
Спокойно спит аквамарин
В объятьях света и теней.*

*В плену навязчивых зеркал,
На дне неведомых глубин,
Грустит задумчивый опал,
Томится пламенный рубин.*

*И каждой гранью ждёт рассвет,
Упорно не смыкая глаз,
Невидимый взыскуя свет,
Бессонный трепетный алмаз!*

* * *

*Ты устал, мой друг, несказанно.
Отдохни, не пой, не играй.
Посмотри на берег Лозанны
И увидишь озёрный рай.*

*Там по лунной дорожке к звёздам
Белый лебедь плывёт в ночи.
Не играй, уже слишком поздно,
Помолчи, мой друг, помолчи...*

Рождество

*Небо. Звёзды. Ночь. Благодать.
До Сатурна рукой подать!
И в мерцании сонных планет
Зарождается Новый Завет.*

*Ладан. Золото. Смирна. Царь.
Путеводной звезды фонарь.
Нежно кормит Младенца Мать.
Небо. Звёзды. Ночь. Благодать!*

Возвращение на родину

*Под небом Лиенца летели
В казаков английские пули,
Рыдали берёзы и ели
И ветви в отчаянье гнули.*

*Краснели тирольские маки
От боли, стыда и позора,
Взирая на то, как казаки
В леса убежали и горы.*

*Как женщины в воду бросались
С детьми и, со смертью играя,
В кипящем потоке спасались
От рабства советского рая.*

*Как били детишек баграми
В реке под названием Драва,
И криком неслась над горами
Дурная английская слава!*

*Священника били сугубо –
Его же крестом, прямо в темя.
О Боже, прости душегуба
И это проклятое время!*

*Устало потомки Шекспира
Топтали казачьи иконы...
Чумы не хватало и пира,
И шли на восток эшелоны...*

* * *

*Когда-нибудь исчезнет этот мир,
Останутся лишь песни и стихи.
Рассеется невидимый эфир,
Забудутся прощённые грехи.*

*И ты услышишь, как поют в раю
Мелодию, знакомую до боли,
Ту самую, заветную твою,
Рождённую в слезах в земной юдоли!*

Воспоминание об Осетии

*Купаясь в белой пене облаков,
Среди вершин, овеянных ветрами,
Я всматриваюсь в глубину веков,
Любуясь полусонными горами.*

*Над башнями исчезнувших родов
Восходит солнце, затаив дыхание,
И в тишине развалин городов
Нашло приют нездешнее сиянье.*

*А в небе ослеплённые орлы
Танцуют вальс, исполненный покоя,
И хочется, сорвавшись со скалы,
Подняться в это небо голубое,*

*Руками словно крыльями взмахнув,
Вдруг полететь над горною страной
И, полной грудью медленно вдохнув,
Запеть стальной натянутой струною!*

*Чтобы в прохладной пене облаков,
Среди вершин, украшенных снегами,
Забилось сердце спящих ледников
Над скошенными поутру лугами.*

* * *

*Я настрою ситар на ветру у подножья вулкана,
И притронуь мизрабом* к его магнетическим струнам.
И мелодия раги** достигнет глубин океана,
Непонятная крабам, но близкая скифам и гуннам.*

*Я наполню звучаньем гитары дождливое утро
Шумных улиц Европы, сердца одиноких прохожих.
И задену нечаянно русской души перламутром
Незнакомые души людей, на меня непохожих.*

*А когда в тихой русской провинции, в скромной церквушке,
Я на службе пасхальной победный тропарь запою,
То подхватят его все стоящие в храме старушки,
И заплачут от радости ангелы Божьи в раю!*

*И опять на концертах моих будут плакать мужчины.
Я спою про Великий Исход и про гибель коня.
А в ауле родном будут громко рыдать осетины
В день, когда милосердный Господь упокоит меня...*

* Мизраб – проволочный плектр, предназначенный для извлечения звука на ситаре.

** Рага (санскр. Raga – краска, цвет) – индийская музыкальная форма, основанная на импровизации голоса или инструмента.

Русский Париж

*У птиц есть гнёзда,
У лис есть норы.
Погасли звёзды,
Утихли споры.*

*В аллее тёмной,
В тени каштанов,
Заснул бездомный
Гайто Газданов.*

*И кровь, как Висла,
Течёт по венам,
Луна повисла
Над «Ситроеном».*

*Сгустились краски,
Скребутся мыши.
Борис Поплавский
Живёт на крыше.*

*И здесь, конечно,
Он к звёздам ближе,
Во тьме крошечной,
В ночном Париже.*

*Туман безмолвно
Струится сенский.*

*Глядит на волны
Поэт Смоленский.*

*И, как на сцене,
Как на концерте,
Читает Сене
Стихи о смерти.*

*У птиц есть гнёзда,
У лис есть норы,
В селеньях звёздных
Утихнут споры.*

*Средь улиц узких –
Приют последний,
Поэтов русских
Несу наследье!*

* * *

*Уходит жизнь. Уходят поезда.
Уходит женщина, на всё махнув рукою.
И с неба падает последняя звезда,
Бесследно исчезая за рекою...*

* * *

*Над озером Женевским песня льётся
И тает в голубых горах Эвьена.
Я буду петь, покамест сердце бьётся,
Пока звенят ручьи самозабвенно.*

*А мир пусть катится своей дорогой,
К известному печальному финалу...
Вот только бы успеть сказать о многом
И песню спеть последнему вокзалу!*

Борис Крячко*

На старости лет

У Филимона Никитича Серсаева, известного больше по прозвищу «Ёкарный башмак», чем по имени-отчеству, случилась беда: значок потерялся. Досада, конечно, страшная. Иной раз, бывает, карандаш потеряешь, и то переживаний на весь день, а тут значок, не шутка. Не какой-нибудь из ларька за тридцать копеек, а наградной, с номером, даже как бы лауреатский, «Отличник культуры» назывался. Филимон Никитич его и разносить не успел, как посеял. Тем обидней, что в длинной снижке наград значок был последней заслугой Филимона Никитича и горю старика не было границ, так как он знал, что теперь его уже никто ничем больше не наградит: годы не те, силы не те, а ордена без разбору не дают, их заслужить надо.

От расстройства он заболел и пролежал всю неделю, а отлежавшись, надумал выпросить в министерстве новый. Вначале ему просто показалось, что там не откажут, а потом, осмелев, он и вовсе решил: «Пусть лишь попробуют!» Только писать он не умел. Все другое умел: и читать, и речь держать, и расписываться, а вот писать Филимону Никитичу как-то не доводилось, и он не умел. По таковой причине он и пригласил к себе Владика Чмырева, местного спортивного комментатора и грамотея из треста столовых.

Пока жена Филимона Никитича с невесткой собирали на стол, Чмырев осматривал помещение и не скучал. Старик

* См. «Грани» №№ 210, 212, 218. – *Ред.*

жил особо от семьи и комнату свою отделал под музей, – там было что смотреть. Первей всего Владик отметил малиновые галифе, потраченные молью; они были распялены гвоздями прямо на стене, и их кожаный зад сразу же согрел гостя жарким самоварным глянецом. Рядом, на ковре, висело оружие, побряцывая и перезваниваясь надписями. Ножны говорили: «Смотри клинок», клинок говорил: «Смотри ножны»; кобура говорила: «Смотри ливер», а ливер, револьвер, значит (прозрачный, как стеклышко, без барабана и без бойка), давал списочный отчет: где, когда, кого и сколько. Пара гранат-лимонок рассказывала, что ими пользовались орлы такого-то кавполка «также для добычи провианта», а горский тесак числился «подарком друга».

– Ты его тоже зарезал? – поинтересовался Чмырев у хозяина, не слишком чинясь.

– Сам пропал, слабак, – ответил Филимон Никитич, догадавшись, о ком речь. – Застрелился, башмак ёкарный.

В комнате было много всяких предметов, но они запомнились не так сразу, как впоследствии. А впрочем, вид у музея был вполне обжитой, может быть, от добротной, хотя и устаревшей мебели, именуемой «трофеями». Вскоре хозяин с гостем уселись за стол, и Филимон Никитич начал толковать о деле, но так издалека, что Чмыреву было не понять, – какой Гридин? причем Гридин? за что старик невзлюбил этого Гридина? чем Гридин ему насолил?.. Владик его не перебивал, потому что сразу же принялся за еду, а мелочи жизни рассчитывал выяснить по ходу разговора с «Ёкарным башмаком», то бишь, с Филимоном Никитичем.

– Я еще раньше, – говорил Филимон Никитич, – еще когда думал. И аппетит у меня стал – веришь? – никак. Не то, что аппетит, ну не могу, ёкарный, ничего есть, хоть убей, понимаешь, кукрыниксы какие. Совесть замучила. А чем он, думаю, за тебя, Серсаев, лучше, Гридин этот? У него и полстолько подвигов не наберется, как у меня. Дуб дубом, а пенсия тож персональная. А спроси, на что она ему, так он и сам не знает. У него и зубов ... А у меня – гля! – все зубы

целые, а у него – кхе! – и зубы подергали, и сам того, ёкарный твой, желудком болеет, видишь, какая штука, желудком, да. И почки тоже. Врачи говорили: «Там уже, – говорят, – не почки, там, – говорят, – полно камней, не почки, – говорят уже, – а камней очень много». Во, милок, дела, – прямо на стенку лезь. Давай, говорю, Серсаев. Жми. Бери, не зевай, а то другие возьмут. Тебе тоже права дадены, не последнее дело. Вот и скажи: имею право, как думаешь?

– Гумаю, га, – сказал Чмырев, остуживая во рту вареник.

– Значит, соображай, раз такой вакант. У меня права какие? Вон какие! – показал Филимон Никитич на галифе с кожаным задом. – Революция за кого? За меня. Сколько я, Владь, пользы ей принес, один я знаю. А как же! Советскую власть, думаешь, кто делал? Серсаев. А гражданская? Серсаев. А троцкизм или колхозы? Да я... да мне, бывалыча. .. ликвидировать, изъять, уничтожить... Кто? Я. Серсаев гремел – о-о-о! Того и делов: «Серсаева к командующему! Где Серсаев? Найти хоть живым, хоть мертвым!» Являюсь. «Есть!» – говорю. «Садись!» – «Есть, садиться!» – «Слушай, Серсаев, давай, ехай, организуй, тудавой-сюдавой, срок до вечера, за невыполнение – сам знаешь, не в первый раз». – «Есть!» – говорю.

И-и, – «Эскадрон! Мелкой рысью! Даешь мировую и так дальше!» Понял? Сам Фрунзе меня потом перед строем и принародно: «Побольше бы таких, как Серсаев!»

Пришла пора как-то отреагировать и Чмырев сказал:

– Ну, прямо-таки сам. Шестерка, небось, из штаба, а ты уши развесил.

– Сам! – отрубил Филимон Никитич ладонью по трофейному столу. – Сам, говорю. Лично в глаза. При всех. Это, как мы с тобой. А как же! Тамбовские не таковские! А ты думал! Мне Климка в штабу сколь раз говорил: «Капитальный ты, – говорит, – парень, Филя, в рот пароход». Привычка такая: чуть чего – в рот пароход. «Есть, – говорит, – в тебе, Филя, наш боевой красный фарт, и ты, – говорит, – Филя, дай знать, ежели не того. На таких героях...» – и так дальше.

Чмырев пустил вскользь по пищеводу, не прожевав, маринованный груздь и полюбопытничал:

– Климка, это кто?

– Как это «кто»? – обиделся Филимон Никитич. – Хорошенькое дело! Ты что, башмак, Ворошилова не знаешь?

– А-а-а! – длинно удивился Чмырев и пресек удивление пирожком с капустой.

– Или хоть бы, взять, Буденный. Тоже, – ух, мужик! Нашим не уступит, – во, мужик! «Руби, – говорит, – до седла, остальное развалится». Слово поперек – сам ответит, сам расстреляет. Змей! Боялись его, как огня, уважали еще больше. Оно, конечно, лучше за них за всех Котовский был Григорь Иваныч. Мне под ним хоть и не довелось, но повидал. Отчаяюга – первый сорт и деваха при нем. Говорили, – каждый день разная. Падкий был до них. На том и погорел. Адъютант застучал со своей бабой и... Там и порешил, прямо на месте.

Владик бросил перемалывать голубец и наострил уши. Ему показалось, будто Филимон Никитич вот-вот доберется до вождя и тот тоже скажет что-нибудь знаменательное. Он угадал. Старик поубавил голоса и подался грудью к столу.

– Самого видал, – сказал он. – Век не забыть. – Тут он ненатурально выпрямился на стуле и сделался очень похож на колун для дров; его взгляд остекленел и уперся в потолок, а голос приобрел подозрительную бойкость, какая всегда отличает читку газеты вслух от живого, непринужденного общения. – Наиболее яркое впечатление моей юности и, вообще, всей моей жизни – это то воодушевление, та готовность, тот подъем, с которым мы, первые комсомольцы молодой советской республики, собрались в тысяча девятьсот незабываемом восемнадцатом году на свой первый съезд. Я сидел в четвертом ряду. Невозможно передать словами, как горячо и вдохновенно забились в груди наши пылкие сердца, когда на сцену вышел величайший и гениальнейший из всех, кого знала мировая история.. .

– Стой! Стой! – замахал руками Владик. – Ты, дед, совсем уже того... – и повертел вилкой у виска. – Да и непохоже ... А доклад свой пионерам толкнешь, – молодец, что выучил.

Они тебе в ладошки похлопают. А со мной давай по душам, а то взаимности не будет. И не выдумывай, понял?

– Я ж не выдумываю, – стал оправдываться Филимон Никитич. – Это мне так написали, чтоб выступать когда... А я, Владь, ей-бо, в четвертом ряду сидел. Все дочиста видел... Собой кургузенький. Пиджачишко на нем так себе, картузик, ёкарный, под наших и пошел: ить-ить! ить-ить! Ну, чисто покати-горошек. А хитрый – у-у-у! Я после него таких уже не встречал. «Вот вы, – говорит, – пока еще молодежь, а чрез двадцать лет, – говорит, – в коммунизме будете, как у тещи на блинах. Но для этого, – говорит, – ебятки, надо кье-э-эпенько воевнуть, чтоб, значит, наша диктатура зацепилась». А сам так головкой набочок и запрометывает, так и запрометывает. Я помню ...

– А Сталина не встречал?

– Сталина? – обрадовался Филимон Никитич. – Ну, как же! Раза три. Один раз – веришь? – при разговоре с ним стоял, при разговоре в Москве, говорю, да, при разговоре. Я тогда начальник погранзаставы был и привез на съезд ключ, весь медный, блестит, башмак твой, и килограмм на двадцать весом потянет, а по ключу, ёкарный, вся конституция насечкой мелко записана. «Вот, – говорю, – как граница наша теперча на надежном рабоче-крестьянском замке, то передаю ключ в руки нашего цык и лично родного и любимого Асса Рионыча, который есть лучший друг любого пограничника и всегда знает, когда чего открыть, когда закрыть...» – и так дальше. А он ключ берет и смеется: «Адын, – говорит, – я нэ магу, пускай прэзидиум памагаит».

– Балшой чалвэк! – заметил Владик, подделываясь под кавказский акцент. – Ы сапсэм прастой.

– А то! – вздохнул воздух Филимон Никитич. – У этого простого не залежится. Этот уламывать никого не будет; сказал, как завязал, а если ты чего спросил, значит, неправильно понял, а вождя кто неправильно понимает, – угадываешь? Во-о, про то тебя, башмак, и на суде спросят. Тигра! Две капли и не отличишь. Видел тигру, какая? Вообще, оно все люди на зверей чем-чем смахивают, но Асса Рионыч на одну тигру

похаживался и больше ни на кого. Вся выходка... Вот кого народ любил без памяти.

Чмырев засмеялся, потом спросил:

– А еще кого знал?

– Хе, милок, – осмелел Филимон Никитич. – Спросил бы, кого я не знал.

– Дуньку с трудоднями ты не знал?

– Нет, ты спроси, спроси.

– Ну, а кого ты не знал?

– А всех знал. Да ты на грамотки глянь, на справки, на подписи, а тогда спрашивай.

Справки Владик видел и читал. Они помещались в углу и гласили примерно об одном и том же: что товарищ Серсаев с такого-то по такой-то период мог в любое время дня и ночи входить в любой дом, становиться на все виды довольствия и делать все, что велит его ревсовесть, пользуясь всем арсеналом горячего и холодного оружия, каковое могло быть полезным для экспроприации, экзекуции и ликвидации, а гражданам – всем! всем! всем! – предписывалось оказывать товарищу Серсаеву прямое, посильное, возможное, всяческое и прочие виды содействия вплоть до чего угодно. При таких мандатах творить подвиги мог далеко не всякий слабак, а этот высохший Геракл с глазами лешего и руками душителя натурально их творил, – сомневаться не приходилось.

– Верю, старче, – сказал Чмырев. – Сгодятся на случай. Кому-кому, а тебе эти мертвяки обязаны. Только живых не трожь, они этого не любят. В общем, не грусти, Маруся. Твои расходы, мои труды.

– Милок! – кинулся Филимон Никитич разливать водку по рюмкам. – Не бойсь! За мной не пропадет. Да ты пей, пей. Я-то вровень не могу по возрасту, а ты давай, наливай, чего там между своими, какие кукрыниксы.

– Ну, договорились. Ноблес облиз! – поднял Чмырев рюмку.

– Как, как? – не понял Филимон Никитич.

– «Договор дороже денег». Поговорка такая у французов, – показал Чмырев пальцами и приналег на яишню с салом.

– Французы, эти могут, – поддержал Филимон Никитич. – Они такие. Я тебе про них анекдот расскажу интересный, – обхохочешься. Встрелись, значит, один наш, другой француз, а курить – уши опухли. У нашего махорка на две закрутки, у француза одна спичка. Ну, сторговались: мой табачок, твой огонек, – вроде того. Скрутили, ёкарный, по сигарке. Вот француз спичку запалил и культурно сначала дает нашему прикурить. Наш прикурил, на спичку – фффу! – и пошел своей дорогой. Хе-хе-хе-хе! Понял, как надо? Чего не смеешься?

– А можно? – спросил Чмырев.

– А то чего ж! – разрешил хозяин.

Владик рассмеялся, но вовсе по другой причине.

– Так вот, я и говорю, – продолжал Филимон Никитич. – Пили мы на «кто кого». – «Ну – ребятешь мне, – давай Филя, не подгадь». А я молодой был, горячий, как черт, меня перепить, бывалыча, хоть кому в задю не кругло. Это я, Владь, состарился, а раньше... Да ты прикинь, какой я был-то! – старик сделал рукой жест «широка страна моя родная» и вынудил гостя еще раз взглянуть на обрамленные фотографии.

Карточки Владик тоже успел посмотреть. На них молодой и стройный Филимон Никитич то попирал хромовым сапогом лафет пушки; то, обнажив саблю, глядел вдаль бесстрашными пуговичными глазами; то восседал, умный и серьезный, за столом с группой таких же умных и серьезных, как сам; то в модной кожанке с ремнями крестнакрест и кубанкой набекрень выступал где-то, когда-то, перед кем-то...

– Угу, – промычал Чмырев, придвигая олады в сметане.

– А раньше!.. – расходился Филимон Никитич. – Ёкарный башмак твой! Как сейчас перед глазами. Кругом разруха, голод, люди мрут на ходу, а у нас чего только нет: крупчатка, сахар, чистый спирт, – ректификат назывался. Девки – хе-хе-хе! – только помани, любая даст и еще «спасибо» скажет, – во

дела. В общем, ешь, пей, гуляй и – аллюр три креста на выполнение задачи. Во, когда нас ценили. Особенно, кто в первых рядах. А я, Владь, честно скажу, за идею стоял беспощадным примером.

Чмырев сыто икнул, обтерся краем скатерки, закурил и подошел к оружейной экспозиции. Постоял, взял гранату, опробовал на вес. «Для добычи провианта», – это как? – спросил он. – Рыбу, что ли глушили?

– Это, милок, как когда, – усмехнулся Филимон Никитич. – Когда рыбу, а когда и не рыбу. К примеру, в Белой Калитве, скажу тебе, брали мы колбасню. Так мы сперва в нее с десяток таких вот закинули, а потом уже брали. Фурманок десять взяли. На одну по одной – во улов! А окорока, Владь, были – ммм! А колбаса – что ты! В спецмагазине в обкомовском и то – слабо такой колбасы. Сейчас хоть бы на зубок...

Выкрутившись винтом на каблуках, Чмырев одарил старика свежим взглядом и спросил:

– Слышь, дед. А тебя, часом, никто не того?.. Ну там, ножиком под бок или, хотя бы, гирей, а? по темечку. Уж больно идейный ты мужик был, как поглядеть. Рисковал, одним словом. Так-таки никто тебя и не пырнул? Врешь ведь.

– Мало чего, пырнул – не пырнул, – заерзал Филимон Никитич. – При нашем деле не ворон ловить. А где они, кто пырлял? Вот видишь. А я сажу на хаузе, чай с вареньем, беседую, живой-невредимый, – во. И зубов у меня еще полный рот, и желудок варит, что ни кинь, и все хоккей, как в Америке. А возьми Гридина – чуть живой, скоро загнется, говорят. Да чего там! Прошлый месяц меня тоже, было, на тот свет наладили. На полном, ёкарный, ходу черная «Волга». Как я от нее сиганул, сам не знаю. Под колешками проскочила. «Ах ты, контра, – думаю, – на старого большевика...» Глядь! – а там Андрей Сволыч самолично. Будка – зараз не уделаешь, ротяра – во! И смеется, паразит. Пошутил, значит. Я тоже засмеялся. А что ты с ними будешь? Они ж прут без разбору, хоть на красный, хоть на какой. Раньше такие гоняли на рысаках. «Пади! – кричат бывалыча. – Поберегись!» А сейчас тихо давят. Ох, шустряки!..

Младший сын у меня в Ташкенте живет, инженер, инженер, видишь, какая вещь, в Ташкенте инженер. Тоже рассказывает...

– Ну, понес, – перебил Филимона Никитича Чмырев и махнул на стол с угощением. – Давай, убирай это. Делом надо заниматься. А то тебя до вечера не переслушаешь. Ну, говори толком, ты для чего меня звал?

«Дорогой товарищ министр культуры.

Я, Серсаев Филимон Никитич, бывший революционер с подпольным стажем и большевик, а ныне персональный пенсионер и меценат, обращаюсь к Вам с пламенным приветом и аналогичной просьбой.

Несколько слов о себе. Когда в газетах пишут «ровесник революции» или «ровесник века», я всегда за себя думаю, так как я ровесник того и другого: родился на нулевой отметке столетия, в революцию мне стукнуло ровно семнадцать и, что интересно, свой день рождения отмечаю с шестого на седьмое ноября, как по заказу, число в число.

С родителями имею полный порядок: мать – прачка, отец – революционер, но раньше трудно было на эту специальность прожить, поэтому он был сапожник и подбивал на революцию других. Я им помогал по мере возможности и бегал за водкой, а они для отвода глаз царских жандармов выпивали и начиналась катавасия: мамаша ругала батю с дружкой, те ругали царя и существующий строй, а я слушал и набирался ума-разума. С малых лет я познал кузькину мать эксплуатации человека человеком и сто процентов был согласен с идеями родителя, который говорил: «Все мы люди, все мы человеки». Он скончался во время голодовки двадцать второго года, а тиф голодному не подмога, от него он и помер. А мамаша померла еще раньше».

– Капитально, – одобрил Филимон Никитич. – Даешь, как поешь.

– Ну! – отозвался Владик. – Это тебе не колбасню брать.

«Комсомола тогда еще не организовали, вступать не было куда, о подрастающем поколении не заботились, и я, по большей части, околачивался, где придется. Это даже удивитель-

но, что я не сбился с панталыку и не пошел воровать, а даже наоборот. Раз один офицер потерял сумку с документами, и я ему отдал, а он говорит: «Вот тебе, мальчик, золотая монетка за то, что ты такой». Понятно, что при таком существовании я не имел будущего, поэтому всей душой встретил революцию и с первого дня влился в ее ряды. Уже в семнадцатом году я, напевая «Интернационал», лез по столбу вешать плакат, а командир гарнизона, товарищ Покатило, сказал про меня: «Это наш красный Гаврош». С тех пор это стало моей подпольной кличкой».

– Ты что, у белых был? – отвлекся Чмырев от письма.

– Чего я там не видел? – насторожился Филимон Никитич.

– Ну, мало ли. Шпионил, разведку вел, – я ж не знаю, чего.

– Башмак ты ёкарный! Я с ними боролся всю жизнь, со шпионами, а ты – «шпионил». За красных я был, так и пиши.

– Ясно, – сказал Чмырев, и улыбнулся.

«Моя сознательная жизнь проходила на фронтах: от похода к походу и снова в поход. Там я увлекся по части культуры и и приспособился, можно сказать, между боями. На моем жизненном пути конармейца мне столько всякого добра довелось встретить, что другим и не снилось. Так как парень я был бедовый и раз от разу выдвигаемый на должности, то мне полагалась отдельная фурманка, где я содержал разные предметы, развивался от них сам и развивал свой кругозор. Сколько уже годов прошло с того времени, а у меня до сих обида на сердце, что все это накрылось на польском фронте, самого меня ранило, быстро отступали, пришлось все бросить».

– Какие вещи были, какие вещи, – загоревал Филимон Никитич. – И все дочиста прахом, коту под хвост. Тикали мы, ох, тикали, кто пеший, кто как.

– Изложим? – предложил Чмырев.

– Не надо, – отмахнулся Филимон Никитич. – Не всем знать.

«После поправки назначили меня по разверстке продовольствия у населения, а я был молодой, энергичный, пере-

верну, бывало, все вверх дном, а найду. Хотя время было уже не то: народ отощал, ничем, кроме куска хлеба, не интересовался и ничего наглядного, кроме икон, не попадалось. А мы еще не знали, что иконы тоже культура; тогда другая была установка и обязаны были выполнять. Если б знать, что с иконами такая выйдет промашка, я б их, этих икон, понасобирал дровяной сарай и больше, но в те годы был приказ «Крой, Ванька, бога нет», и все божественное мы пускали на слом или в огонь, а попов через трибунал и в расход».

– С ними валандаться, – поморщился Филимон Никитич. – Лучше десять простых, чем один патлатый.

– Какая разница, – передернул плечами Владик. – Не все равно – люди?

– А такая, что не все. Возьми, интеллигент. Тоже «люди». Так он что вытворяет? Сам не свой, бедолага, на колешках плачет, папой-мамой-детьми, сукин кот, клянется, сапоги тебе, ёкарный твой, нализирует... Или другой, покрепче который. Глазами на тебя зыркает, зубами скрипит и все время ругается. А попы? Они молятся, понял? И ничего ты для них не обозначаешь, хоть ты их бей, хоть стреляй, хоть чего.

– Интересно, – вырвалось у Чмырева.

– Интересно у бабы под подолом, – поправил его Филимон Никитич, – а тут тебе никакого, милок, интересу. Вот, скажем, поп. А вот – я, значит. И он меня ни вот столечко не боится. Читает себе всякую богородицу, а я, вроде, пустое место, ты ж понимаешь! Положено как? Или ты боишься, или тебя, а иначе порядка не жди. Значит, ежели у него страха нет, значит, моя очередь, – так выходит?

– Ну, тебя на испуг не враз возьмешь, – ободрил Чмырев Филимона Никитича.

– А то! – возразил Филимон Никитич. – Еще как боялся, милок! Чуть не обмочишься. Весь, бывалыча, заряд засадишь, а у самого с думки нейдет: «А что как встанет?» Не-э, попа с одной пули даже не пробуй. Вредные. Мы народ стращаем, а с него какой пример? Я, вроде того, делаю, и ты делай; я, мол, не боюсь, и ты, значит, не бойсь. Это порядок?

– Да-а, – задумчиво протянул Владик и вытер взмокший лоб. – Большая у тебя жизнь, дед. История. Мемуары писать. Не к ночи будь сказано... Ну, ладно. Поехали дальше.

«Вскоре после этого меня откомандировали по установлению советской власти в республиках Средней Азии, где басмач на басмаче и басмачом подпоясан. Это такой народ заядлый оказался, ничего признавать не хотят и религиозные – нет спасу. Нам приходилось разъяснять и вести большую воспитательную работу, потому что добром от них ничего не добьешься. Это они теперь образумились, пишут нашими буквами, спекулируют по всей стране, про политику рассуждают, а раньше к ним без нагана не подходи. Сами грязные, некультурные, пишут, как курица лапой, ничего не разберешь. Мы там уничтожали святые места и все ихние книги подряд, какие попадались, но ничего культурного не нашли, одни лишь ковры и одеяла. Мы им советовали русским языком, чтобы не сопротивляться, а то перестреляем до одного, на расплод не останется, но они думали, что это шутка, и сопротивлялись вплоть до оружия. Тогда мы лупили по ихним кишлакам из орудий, только пыль столбом, и они за это ненавидят товарища Буденного, аж дрожат со зла. Проводя воспитательную работу, я там получил ножевое ранение в живот и долго поправлялся на курорте. Конечно, ковры, они тоже культура, но маленькая...»

– Что ты заладил: барахло да шмутки, – проворчал Филимон Никитич. – Загни, давай, про идейное.

– Не скрипи, – осадил Чмырев старика. – Сейчас пойдет идейное.

«В дальнейшем я полностью перешел на работу в органах чекизма, но еще тогда понял, что культура – это великая вещь, особенно книги. Сколько я их на своем веку проработал, это невозможно, а насчет политграмоты было строго, так что хочешь – не хочешь, а развивайся и никаких гвоздей. От книг я, можно сказать, человеком стал и другим советую. Но главное, что я тогда мечтал, так это оставить по себе след через какую-нибудь библиотеку, где трудящиеся смогут в

свободное от работы время работать над собой, успешно отдыхать и меня вспоминать».

– Подходяще, – похвалил Филимон Никитич. – Доходит. Умеешь. Жми до конца. Добровольно, скажи, никто не ставлял и так дальше.

– Не мешай, – отозвался Владик. – Без тебя знаю.

«Когда я вышел на пенсию, то открыл на дому библиотеку для всенародного пользования, а также именной музей революционной, боевой и трудовой славы и сильно израсходовался. Об этом много писали и в журналах, и везде, а еще передавали по радио и показывали меня по телевизору и в кино. Комсомольцы записали в книге благодарностей, что я, как полноводная река, орошаю посевы, а по мне корабли плавают. Вы про это, товарищ министр, тоже, конечно, слышали и приказали наградить меня значком «Отличник культуры», а я вам за это обязан, что не забыли старинного борца за землю, за волю, за лучшую долю».

– Слушай, – спросил Чмырев, отодвигая бумаги. – Ты где ее раскопал, библиотеку?

– В утиле, – усмехнулся Филимон Никитич.

Владик ушам не поверил.

– Где? – переспросил он.

– В утиле, – повторил старик. – У них много. Туда люди книжки сдают, какие негодные, политические. Две копейки за килограмм. А все новые, никто не читает. Чего ж им, ёкарный, пропадать? Я перекупил. Три самосвала привез.

– А ну, неси сюда свои благодарности, какие есть, – потребовал вдруг Чмырев.

– За библиотеку? – уточнил Филимон Никитич робко.

– Не за попов же! – огрызнулся Владик через плечо.

Он пролистал принесенную тетрадь, но в ней, кроме записи о реке и о кораблях, ничего больше не было.

– Не шибко, дед, – вздохнул Владик. – Прямо сказать, не шибко.

– Стишок про себя знаю, – застеснялся Филимон Никитич.

– Ну, давай.

Филимон Никитич скосил глаза и прочитал, как на утреннике:

*Товарищ Серсаев,
Вы гордость народа,
Мы вас поздравляем
С высокой наградой.*

– Сам придумал?

Филимон Никитич скромно кивнул.

– Хороший стишок, – одобрил Чмырев. – Министру понравится. Они, министры, любят клубнику с малиной. Так, значит, и запишем.

Стишок записали, облыжно приклепав авторство ни в чем неповинным пионерам и школьникам, и перешли к сути дела.

«Награда родины ко многому меня призывала, поэтому я таскал значок везде и всюду, пока не произошла катастрофа, которую я сейчас опишу. Ночью у соседа загорелся дом. Я проснулся, накинул френч с наградой и рванул на помощь. Сразу же я полез в огонь, но мне там стало жарко, и я разделся без внимания. Извините, конечно, что в горячке человеку не до орденов, главное, людей спасти, – я так думаю. Продолжая спасать людей и материальное имущество, я надеялся, что с минуты на минуту будет пожарная машина, но она приехала, когда от дома остались одни головешки, и мой френч от этого безобразия тоже сгорел. Полдня я ковырялся в золе, думал, найду...»

– Погоди, – остановил Чмырева Филимон Никитич. – Это какой же дом такой по соседству? Гридинский, что ли? Даже не думай! Не побегу я его спасать, пускай горит... И вообще не пойдет. Ты перемени. А то еще скажут: «Предоставьте справку. Или медаль за мужество. Я ее где возьму?»

– Не скажут, – заупрямился Чмырев.

– Да, да, шире карман держи, «не скажут». Так тебе сейчас и поверили без справки. Ты давай, ёкарный, вот чего делай: или нельзя чтоб справку достать, или можно. А это зачеркни. Про пожар.

– Оно бы лучше без справки, – почесал за ухом Владик. – Спокойней как-то. Сейчас устроим. Момент.

После кратких переговоров получилось следующее: «Недавно я поехал в Ташкент проведать сына, а френч с наградой положил в чемодан. И вот, не помню, на какой станции, мой чемодан украли, – просыпаюсь, а его нет. – Я в милицию. «Так и так, – говорю. – Требую шмон по линии, тревогу номер один, проверить удостоверения и так дальше». А дежурный мне что? «Мотай, – говорит, – старик, отсюда, а то и тебя посодим». – «Я, – говорю, – полковник такой-то», – а он отвечает: «Это ты раньше был полковник, а будешь, – говорит, – покойник, – понял? И чеши, пока не поздно».

– Крест на пузе, – побожился Филимон Никитич. – Сержант один в Ташкенте. Так и сказал, контра. Слово в слово.

«Это что же делается? А еще говорят «моя милиция». Какая ж она «моя»? Разве с ветеранами так обращаются. Вот раньше было обращение, это да. Еще батя мне одного показывал. «Гляди, – говорит, – Филька, и запоминай: ветеран Полтавского сражения...»

– Трепач твой батя добрый, – заметил Чмырев без отрыва от письма. – Полтавское знаешь когда было? Триста лет скоро. Это Куликовской битвы был ветеран.

– Ну, переправь, – сказал Филимон Никитич. – Тебе видней. Батя, это верно: швайка, дратва – это он соображал, а насчет чего другого ни в зуб ногой был. Ты поправь, поправь.

«...запоминай: ветеран Куликовской битвы». Так его ж на подушках несли! А теперь не то, что подушку, а вообще ничего никогда. А я сам себя не жалел. И вот такая мне благодарность. «Иди, – говорят, – дед, откуда пришел». – «Я, – говорю, – под Перекопом был». – «Вот туда, – говорят, – и иди, под Перекоп». – «Я, – говорю, – Ленина видал на комсомольском собрании». – «Ну, и что с того, – говорят, – что ты его видал?»

– Правда, – заскорбел Филимон Никитич. – Было. Что было, то было. Правда.

«И вот остался я, товарищ министр, как есть на бобах и ничего не радуется. Удостоверение у меня имеется, подписанное Вами, но его же не повесишь на шею и каждому встречному не покажешь, что ты удостоен. Я даже не знаю, что дальше будет и для чего была моя жизнь. Ночей не сплю, размышляю, как могло так случиться, что теперь каждый кусок поперек горла застряет. А еще обидно слышать такие разговорчики, как молодежь ведет. Мы такого про вождей даже подумать боялись, а сейчас анекдоты всякие и никто ничего, только смеются и все».

– Только смеются и все, – горестно повторил Филимон Никитич. – Смеются только и больше ничего... Ты, Владь, попроси его, попроси, как следует. По интеллигентному, со слезой, папой-мамой-детьми. – Старик всхлипнул и полез в карман за платком.

– Ну, будет хныкать, – ободрил его Чмырев. – Расклеился!

«И я Вас, дорогой товарищ министр, умоляю папой-мамой-детьми, а также всем святым, что у Вас имеется, уважить мой преклонный возраст, мой стаж и заслуги перед государством, которое я укреплял собственными мозолями от начала до конца. Дайте приказ и пусть вышлют хоть дубликат значка, который мне дорог как признание моих заслуг на пути дальнейшего строительства новой светлой жизни. Моей просьбы прошу не отказать.

С уважением,

Серсаев Ф. Н.,

полковник в отставке,

персональный пенсионер союзного значения,

член КПСС с 1918 года».

– Думаешь, выгорит? – просительно заморгал глазами Филимон Никитич.

– Можешь не переживать, – заверил его Владик. – Ни одна министерская собака не отмахнется. За вкус, дед, не знаю, а горячо сделаем.

– Ну, ладно, – успокоился старик. – Ну, подождем, башмак твой ёкарный...

...Долго и зря ждал Филимон Никитич. Уже и время прошло, и пленум состоялся об улучшении работы с письмами трудящихся, и Чмырева он дважды успел повидать, а ответа все не было. Ни письма не было, ни значка, – ничего. Вряд ли просьба Филимона Никитича затерялась; просто она залетела в те высокие круги, куда все идет и откуда ничего не возвращается... Короче говоря, Владик сходил к знакомому коллекционеру, купил у него такой же значок и перепродал Филимону Никитичу, а разницу взял за труды.

С тех пор прошло несколько лет, но Филимон Никитич жив-здоров, как прежде. Его даже приняли на службу в одно учреждение за то, что он так много всего повидал, и сажали в президиумы, но вскоре уволили. Дело в том, что старик совершенно сошел с тормозов в смысле контроля речи и стал сдура-ума проговариваться о таких подробностях, о каких ему лучше бы вообще помалкивать. В конце концов, сам Андрей Сволыч не вытерпел и назвал его воспоминания «идушцами вразрез», а Филимона Никитича приказал прогнать. Теперь старик мается от безделья и на всех ворчит, потому что скучно.

А в ведренный день он выходит в сад, садится под яблоней и сидит часами, думая о прожитом. Когда он один, ему уже не приходят на память грабежи, рубка пленных, пьяные гульбища, встречи с вождями, расстрелы попов за околицей, пальба из курносых пушек по грязным таджикским кишлакам, – не приходят, потому что неинтересно. Охотней всего ему припоминается, как осенью степь волей пахнет; как по той степи бездорожно и вольно ступают лошади; как его самого увалисто в седле колышет; как вдумчиво молчат кони и люди, будто тишину пьют с неба сумеречного, и кто-то, стремя в стремя, протягивает ему окуроч, вкусней которого он ничего и никогда не курил. Тут его память начинает пробуксовывать, и он думает: «Кто ж это был? .. Кто ж это был?.. Кто ж это был?..» И не может вспомнить за давностью времени.

Владимир Николаев

Тайны придворной летописи*

Уникальное издание

Возвращение памяти

К началу перестройки страна наша, можно смело это сказать, не имела истории, а народ – памяти. Вместо того и другого был сталинский Краткий курс истории Коммунистической партии – величайшая фальсификация из всех, какие только знала наша цивилизация. На XX съезде партии Хрущев робко приподнял непроницаемую завесу над тайной сталинской тирании.

Террор против собственного народа, который начался еще при Ленине, унес за семьдесят лет десятки миллионов жизней, невинных жертв. Об их точном количестве не стихают споры ученых. И мало кто знает, что писал о нашем народонаселении Дмитрий Менделеев, великий ученый, творец периодической системы элементов.

Кроме химии, он занимался еще демографией, наукой о народонаселении. В своем большом труде «К познанию России» он в девятьсот пятом году предсказал – основываясь на статистических данных и на переписи населения страны, что к двухтысячному году население России будет составлять примерно шестьсот миллионов человек.

* Печатается впервые. См. № 229 и № 230 – 2009 г. – *Ред.*

Примечательно, что в том же самом году партия Ленина начала борьбу за так называемый социализм в России, устроив генеральную репетицию Октябрьской революции.

Как видите, цена за тот самый социализм оказалась непомерно высокой.

Эту страшную проблему в «Огоньке» анализировал ученый-экономист Исаков, заведующий кафедрой статистики Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Он констатировал:

«Грубо говоря, мы ополовинены. В результате «экспериментов» нынешнего столетия (*то есть XX века – В. Н.*) страна потеряла каждого второго жителя... Прямые формы геноцида унесли от восьмидесяти до ста миллионов жизней».

Общие потери на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны ученый определяет в сорок семь – пятьдесят миллионов, включая сюда и не рожденных младенцев. Приводя многие другие статистические данные, ученый пишет:

«Сейчас в Советском Союзе (*статья опубликована в журнале в августе девяносто первого года – В. Н.*) двести девяносто миллионов. Из них примерно сто тридцать миллионов – относительно здоровые люди. Остальные – ослабленные... Речь идет о серьезных заболеваниях физического и психического характера... Мною предложена формулировка «закона трех поколений». Он гласит, что генетический сдвиг нации можно спрессовать в три поколения, в течение жизни которых страна, народ, цивилизация доходят до полной деградации и вырождения».

Да, дело не только в том, что мы на той территории, которая веками называлась Россией, не досчитались в конце XX века около трехсот миллионов сограждан. Во время социальных и военных катаклизмов гибли, как правило, лучшие люди, те, что поумнее и посильнее, поэтому поколение за поколением ухудшался генофонд великой нации. Большевики задавили народ тройным прессом: террором, ложью и страхом, который отравил у нас жизнь нескольких поколений и

до сих пор не ушел из нашей жизни. Он все еще в воздухе, которым мы дышим сегодня.

Наш прославленный генетик Эфроимсон писал в «Огоньке»: «Я старый человек, я даже не боюсь говорить правду. Может быть, это вообще самая главная цель для нашего общества – сделать так, чтобы никто не боялся говорить правду».

Другой автор журнала, художник Жутовский, вспоминал о недавнем прошлом: «Каждый день наполняется предчувствием надвигающегося произвола. Во всех сферах существования... И на полях, и у станков, и на лесоповале, и на Беломорканале – с т р а х. Великий страх, и их, бедолаг, и фотографов, и издателей, и тех, наверху, кто требовал это. Их всех мучил безысходный страх. И нам они передали его с кровью, с шепотом, с всегдашней настроженностью за свою и нашу с тобой жизнь».

Помочь людям избавиться от этого страха, вернуть им память, историю страны – вот одна из главных задач, которую журнал поставил перед собой с приходом гласности.

Что такое тотальный террор

Из многих материалов на эту тему, опубликованных в журнале, одним из самых сильных был очерк о судьбе беспаспортной и неграмотной колхозницы Матрены Макаровны Чучалиной – паспортов колхозникам не полагалось. Наши корреспонденты нашли ее дело в новосибирском архиве. В нем шестьдесят восемь документов, следствие было начато семнадцатого июля сорок первого года, приговор вынесли двадцать второго июня сорок второго года. Около года могучая государственная машина занималась делом Матрены. Все началось с доноса (далее документы из дела даны в их оригинальном написании):

«Следователю Кузнецкого района от Коревиной Марии Николавны. Заявление. Восьмого июля сорок первого года мне как-то будь-то Чучалина Матрена говорила на поле что

хотя бы скорей перевернули советскую власть мы бы еще помолвились. Мне сказали Манахова Анастасия Яковлевна, Сарина Мария Федоровна и Мельникова Екатерина. Ксем МН Коревина».

Другой документ дела – «Постановление», на основании которого «за контрреволюционную агитацию среди колхозников» возбуждается «уголовное преследование против гр. Чучалиной М.» Документ третий – характеристика на Матрену с места работы, то есть из колхоза:

«Производительная характеристика на члена к-за Новостройка жерновского сельсовета Кузнетского района. На Чучалину Матрену М. Чучалина Матрена М. до тридцать третьего года жила единолично посоц. происхождения из крестьян. Середняков. По религиозности староверы тоисть подеревенски кержаки в массовую коллективизацию в колхоз не вступал. И вступал в тридцать третьем году... Предправления Бедарьков. Считаю Монахов».

Из дела также узнаем, что ей сорок три года, у нее семеро детей в возрасте от трех до двадцати трех лет, двое из них – в армии.

Арестовали ее на следующий день после доноса. Уже на другой день после поступления доноса следователь Сесов допросил семь свидетелей, женщин-колхозниц. Как и Матрена, они не могут ни прочесть, ни подписать протокол допроса. От имени Матрены следователь записывает: «В предъявленном мне обвинении виновной себя не признаю».

Осознав, видимо, нависшую над ней опасность, Матрена сообщает следователю, и он записывает с ее слов: «меня разбивало громом и с тех пор я лишилась здравого рассудка». Ее посылают на судебно-психиатрическую экспертизу в Томск. Медицинское заключение, наверное, единственный в деле документ, написанный грамотно и по-человечески, он и дает некоторое представление о Матрене:

«Трудовая жизнь с раннего детства. С восемнадцатилетнего возраста замужество. Имела одиннадцать беременностей, закончившихся нормальными родами. В живых осталось семе-

ро детей. По характеру всегда добрая, доверчивая, спокойная, очень религиозная... Правильно ориентирована в окружающем. Приветлива. Очень контактна. На вопросы отвечает охотно, по существу. Речь живая...» Врачи признали ее вменяемой и тем самым, по существу, подписали ей приговор.

Следствие и судебный процесс над ней лишний раз показали всю абсурдность обвинения в контрреволюционной деятельности. Вот еще выдержка из дела, из ее диалога с прокурором Шадриним:

«— Скажите, обвиняемая Чучалина, кто на вас имеет сердца издопрошенных по вашему делу свидетелей назовите ихние фамилии?»

— Издопрошенных свидетелей както Иванову Пономареву Монахову Мельникову и Сарину эти свидетели на меня злые ни когда не были, но этих свидетелей подговорила чтобы они показали на меня что занимаюсь контрреволюционной агитацией Чучалина Мария Афанасьевна.

— От куда вам известно, что ваша сношейница Чучалина М.А. выше перечисленных свид. подговорила. Чтобы они ложно показали на вас, что вели контрреволюционную агитацию?»

— Это мне из вестно из того, когда меня следователь у нас в колхозе допросил я пошла домой и спросила Чучалину Марию, что? наверно утопили меня, то Чучалина мне ответила да мы оговорили и показали одно».

По большому счету стенограммы таких вот «дел» пострашнее документов о процессах над Бухариным и Зиновьевым. Не Матрену судили, а всю Россию распинали на сталинском кресте.

Наши корреспонденты нашли в архиве рядом с ее делом множество других аналогичных документов, в том числе: на откатчицу Ульяну Ерохину, кузнеца Митрофана Артамонова, молотобойца Даниила Полушкина...

Артамонов, например, получил десять лет лагерей без конфискации имущества «за неимением такового» и поражение в правах на пять лет. За что же? За то, что сказал во время

перекура (цитата из дела): *«Сталин без головы зря его называют мудрым и возьмите пример из него доклада что вы найдете внем мудрава...»*

Матрена Чучалина Сталина не оскорбляла и получила «всего» шесть лет лагерей и поражение в правах на пять лет.

Книга века

Современнице Матрены Чучалиной, Евфросинии Керсновской, выпала еще более страшная доля, чем несчастной колхознице, она попала к сталинским палачам с молодых-ранних лет и на долгие-долгие годы.

Опубликованный в журнале материал «Житие Евфросинии Керсновской» стал сенсацией мирового масштаба, его перепечатали из «Огонька» во многих странах. То, что мы раскопали эту историю, стало одним из самых главных событий в деятельности «Огонька» тех незабываемых лет.

Мало этого. Я убежден, что из многих литературных открытий в годы перестройки самым главным можно смело назвать наше знакомство с творчеством Керсновской. Не могу не гордиться тем, что по воле случая мне выпала честь стать одним из первых читателей и издателей Евфросинии Антоновны.

Один из наших сотрудников случайно повстречался с ней в провинции, далеко от Москвы, и привез в редакцию рукопись, вручил ее мне – как заместитель главного редактора я в числе прочего отвечал в журнале за литературу и искусство. Ознакомившись с ней, я просто ахнул: это оказался воистину уникальный труд, в нем было полторы тысячи страниц текста и семьсот авторских иллюстраций! Передо мной были не просто талантливо написанные воспоминания и сделанные на высоком уровне рисунки к ним, нет, это было нечто неизмеримо большее!

Конкретный, предельно заземленный материал, не претендующий на обобщения, с каждой новой страницей, с каждой новой иллюстрацией перерастал в необычное литературное

явление и с невиданной силой воздействовал на читателя, выходясь из мемуарной прозы даже самой высокой пробы.

Аналогов этому произведению, пожалуй, не подобрать. Я сделал все, чтобы как следует преподнести рукопись Керсновской в журнале и затем, как только мог, способствовал ее изданию.

Родилась Евфросиния Антоновна в девятьсот восьмом году в Одессе в дворянской семье, правда, это определение имело отношение только к превосходному воспитанию, полученному ею дома.

Родители всю жизнь трудились: отец был известным в городе адвокатом, мать преподавала иностранные языки. Сама Керсновская считала себя русской, хотя отец ее был поляком, а мать – гречанкой. Выросла Евфросиния среди книг, музыки и живописи, владела восьмью языками, по примеру старшего брата, талантливого художника, много рисовала.

В девятнадцатом году, когда белые бежали из Одессы, ее отец не захотел уезжать, но вскоре был арестован большевиками и приговорен к расстрелу как «враждебный элемент». Чудом спасся, семье удалось сбежать в Бессарабию, где у отца был небольшой земельный участок. Он хотел отправить дочь учиться в Париж, а свое, находившееся в упадке небольшое хозяйство, продать. Но дочь не захотела уезжать, она очень любила свой сельский дом и труд на земле, как настоящий фермер работала в поле и саду, управлялась в коровнике, свинарнике, на конюшне, была лихим наездником.

Перед самой войной отец умер. Она стала хозяйкой в доме и на участке. В своей книге Керсновская вспоминает:

«И вдруг по радио: «Советский Союз заявил о своих притязаниях на территорию Бессарабии...» Теперь даже трудно себе представить, что сердце, которое, как мы знаем, должно быть «вещуном», ничего не возвестило. Как будто еще совсем недавно в Прибалтийских республиках не произошла катастрофа и как будто мы не могли догадаться, во что это выльется?!»

Да, тайно сговорившись с фашистской Германией, мы вместе с ней рвали Восточную Европу на части, отхватив себе при этом Прибалтику, а вскоре за ней и Бессарабию. В разгар лета сорокового года во двор небольшой усадьбы въехали наши кавалеристы и обратились к босоногой Евфросинии, ловко орудовавшей вилами:

«– А скажи-ка, где у вас здесь барин?

– Барин – это я!

...Душой я тянулась навстречу этим людям: ведь это были свои, русские... Вернувшись в дом, мама сказала:

– Ты обратила внимание, как он произнес «мамаша»? Мне он стал сразу близок, как сын...

Она ласково и смущенно их угощала, наливая чуть дрожавшей рукой холодное ароматное вино...»

Через несколько дней их с матерью просто вышвырнули из дома на улицу. Лишив всего – хозяйства, одежды, домашней утвари... Так же обошлись и со многими другими «собственниками».

А вскоре началось массовое выселение местных жителей в Сибирь. Отправили туда и Евфросинию. Перевозили их так, что не все туда добрались. Там она очутилась в концлагере, валила лес, работала медсестрой, в морге грузила трупы, копала землю, ухаживала за свиньями...

В сорок втором году ей удалось убежать, она прошла по тайге за зиму, весну и лето около полутора тысяч километров. В конце концов ее поймали, судили и приговорили к расстрелу. На другой день после суда ей предложили написать прошение о помиловании, она отказалась. Наверное, от изумления тюремщики заменили ей казнь десятью годами лагерей. Восемь лет она отработала в шахте.

Глазами Керсновской мы смогли увидеть наш ГУЛАГ так, как его не смог обрисовать никто до нее. Да, есть много воспоминаний и художественных произведений, но не было ни кинокадров, ни фотографий, ни документальных рисунков с натуры. У Керсновской цепкий глаз, на ее рисунках воспроизведена вся страшная лагерная жизнь: изможденные заклю-

ченные, допросы, обыски, драки, пересылки, лесоповал, шахта, захоронение умерших, лагерная любовь, больница, морг...

Для начала мы рассказали в журнале о судьбе Евфросинии Антоновны и в двух номерах опубликовали на наших цветных вкладках шестьдесят четыре рисунка к ее книге. Вот только подписи к некоторым из них, сделанные самой Керсновской:

«Изнанкой Красноярска было Злобино – знаменитый невольничий рынок. Сюда приезжали начальники шахт, рудников и заводов приобретать для своих производств квалифицированных невольников. В Злобине я работала на погрузке цемента и кирпича»,

«Стоим мы – одиннадцать голых, мокрых женщин – босые, на каменных плитах, в нетопленном помещении. С нами конвоир. По всему видно, даже ему холодно. Пять часов стояли мы в ожидании одежды из «прожарки». Все спасение было в том, что мы плотно жались друг к другу и те, что были снаружи, протискивались внутрь. Непрерывное движение не давало нам замерзнуть».

«Морг – самое гостеприимное учреждение лагеря. Двери здесь для всех и всегда открыты. Днем и ночью, летом и зимой. Когда меня перевели сюда работать, мне часто приходилось одной таскать трупы. «Жмурики» были до того истощенные, что делать это было совсем нетрудно».

«Как только из кухни выносили пищевые отходы, группа доходяг – человек пятнадцать – застывала в положении «стойка»...Стоило лишь «кухонным мужикам» удалиться, как все эти голодные, обезумевшие люди кидались к отливу и, отталкивая друг друга, выгребали руками рыбную чешую, пузыри и рыбные кишки, заталкивая все это поспешно в рот».

Вскоре после смерти Сталина Керсновская вышла на свободу. Обитала она в Ессентуках, жила бедно, но ее постоянно опекали добрые люди из разных мест, главным образом, из Москвы. Попеременно жили у нее, помогая по хозяйству, ухаживали за небольшим садом и огородом.

Свои воспоминания она писала шариковой ручкой, иллюстрации делала цветными карандашами, белилами, акварелью и тушью. Больше всех опекала ее семья московского педагога и психолога Игоря Моисеевича Чапковского, с которой я познакомился и подружился.

Евфросиния Антоновна ушла от нас, разменяв уже девятый десяток...

После публикации о творчестве Керсновской в «Огоньке» в журнале «Знамя» была напечатана примерно треть ее рукописи, без иллюстраций. В девяносто первом году в Москве издали альбом с ее рисунками и подписями к ним. В двухтысячном вышли ее воспоминания, но, увы, без рисунков – «Сколько стоит человек», в шести небольших томах.

Нет сомнения в том, что мемуары вместе с ее рисунками будут изданы у нас. Только в таком цельном виде книга станет одним из самых главных литературных памятников советской эпохи, можно сказать, книгой века.

К сожалению, у нас прочно сложилась странная традиция – делать книги такого масштаба достоянием широких масс только спустя много лет после смерти их авторов – Булгаков, Платонов, Пастернак...

Рыба с головы гниет

Преступления времен сталинской тирании и судьбы ее жертв словно сфокусированы в совершенно феноменальном памятнике и свидетеле той страшной эпохи – Смоленском архиве. Впервые в Советском Союзе о нем рассказал своему многомиллионному читателю журнал «Огонек».

Во время Великой Отечественной войны немцы захватили и вывезли партийный архив Смоленской области, потом он попал в руки к американцам. В нем, как в зеркале, отражена многострадальная история нашей страны после Октября семнадцатого года. Тысячи и тысячи документов – от доносов малограмотных деревенских стукачей до переписки местных партийных руководителей с Политбюро и Сталиным.

Американские ученые за двести с лишним лет своей демократии узнали цену историческим архивам, научились с ними работать – в отличие от нас, поскольку до сих пор мы под словом «архив» понимаем прежде всего «запрет».

Зарубежом на основании Смоленского архива создано множество научных трудов. Чем дальше уходит время, отраженное в нем, тем громче зывают к нам, россиянам, его поистине бесценные документы.

Мы рассказали о них в журнале на примере одного района области – Усмынского. Мы видим, как начинался геноцид местных партийных прощелыг против собственного народа, как уничтожали трудовое крестьянство. И самое главное – как Москва, ЦК партии, железной рукой направляли эту преступную политику.

«Своею собственной рукой» – как поется в знаменитом «Интернационале» они схватили за горло великую страну и начали ее душить. Когда знакомишься со Смоленским архивом, то просто поражаешься малочисленности деревенских партийных негодяев, которые по воле Сталина задавили трудовое крестьянство.

Так, в Усмынском районе было шестьдесят девять членов партии – по одному на три деревни! Все они не имели никакого отношения к сельскому труду – милиционеры, продавцы, кладовщики, конторщики, финансовые инспекторы, сторожа... Лишь бы не работать в поле и лишь бы командовать.

Что для них характерно? Невероятная жестокость (под лозунгом классовой борьбы), пьянство, разврат, невежество... Чудовищный симбиоз беспрекословного раба перед центром и всесильного хозяина в своей деревне, именно об этом просто кричат архивные документы. Мы так комментировали их на страницах журнала:

«Их учили не щадить ни отца с матерью, ни друзей, ни соседей, доносить о настроениях, слухах – бесконечный поток доносов показал, как они умело пользовались клеветой в своих интересах; отнимать в интересах класса имущество, а если надо, и жизнь... Конечно, то были обыкновенные малограмот-

ные парни, с трудом владевшие политической терминологией, развращенные властью, которая давала им возможность попить, покуражиться, погулять. По-настоящему научились они одному – готовности выполнять любые указания».

Одновременно мы на страницах журнала разбирались в исторических хитросплетениях в среде правящей партийной элиты и других видных политических и государственных деятелей. Ф. Раскольников, М. Кольцов, М. Литвинов, Н. Рудзутак, Н. Бухарин, М. Томский, М. Рютин, А. Рыков, М. Тухачевский, К. Радек, Л. Троцкий, Ю. Мартов – вот только несколько из многих исторических фигур, пришедших из забвения на наши страницы. В отношении к ним в журнале с течением времени наметилась тенденция к более глубокому анализу.

Когда они были отмыты от незаслуженных обвинений и клеветы, наш подход к их жизни и деятельности стал более критическим, более объективным. Они предстали перед нами не только героями и жертвами, но и виновниками многих несправедливых дел, которые они вершили еще под руководством Ленина.

Так, например, Ильич, взяв власть в свои руки – он назвал ее диктатурой пролетариата, – провозгласил: «Диктатура означает – примите это раз и навсегда к сведению – ...неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон власть... Неограниченная, незаконная, опирающаяся на силу, в самом прямом смысле этого слова власть – это и есть диктатура».

Как от таких слов переходить к делу, Ленин продемонстрировал весьма наглядно. Например, заявлял: «За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое!» Вдумайтесь! Расстрел за «публичное оказательство» своих взглядов!

В своей книге «К социальной демократии» Александр Николаевич Яковлев констатирует:

«Вообще-то говоря, все, что с нами происходит, это расплата за большевизм... Большевизм изуродовал Россию,

исковеркал сознание значительной части народа, всячески поощряя фанатизм, нетерпимость, иждивенчество, доношительство... В. Ульянов (Ленин), перед которым нас заставляли стоять на коленях, оказался убийцей с большой дороги. Именно он санкционировал «красный террор», создание концентрационных лагерей, в том числе для детей заложников, применение удушливых газов против тамбовских крестьян. Именно он несет ответственность за бессмысленные жертвы гражданской войны. Миллионы погибли в борьбе за обещанное Лениным счастье, которое оказалось химерой».

Да, так совершенно справедливо мыслил главный вдохновитель перестроечного «Огонька», а вот у его шефа, Горбачева, таких цитат не найдешь! Такое разномыслие и привело их в конце концов к разрыву, а по большому счету – к р а х у п е р е с т р о й к и.

Но пока они там, наверху, разбирались между собой, пока Яковлев был в силе, мы в своем журнале старались донести до наших читателей как можно больше правды об их собственной истории, которая была им совершенно неведома и без знания которой нельзя было перестраивать старую жизнь по-новому.

Так, например, мы писали не только о ленинской революционной практике, о его так называемой пролетарской диктатуре, но и о том, как у Ильича обстояло дело с теорией.

Известно, что высшим достижением Ленина в области философии у нас официально числилась книга «Материализм и эмпириокритицизм». Вот что писал о ней Валентинов, один из самых близких дореволюционных друзей Ильича: «Многие отнесли к книге как к курьезу... Ответили Ленину несколькими страничками, подчеркивая, что уровень понимания им философских проблем таков, что полемика с ним бесполезна».

А вот как оценил эту книгу Чернов, один из крупнейших мыслителей и деятелей Февральской революции семнадцатого года:

«В первый и последний раз произвел он эту карательную экспедицию в области философии... Целым рядом грубейших

промахов и наивностей он с головой выдал свою абсолютную чуждость этой области мысли и полную непригодность к философствованию. Но и в этой книге он тот же, что и везде – уверенный, не подозревающий того, где и в чем он беспомощен, ломящий напролом, исполненный пренебрежения к другим и поставивший себе за правило афишировать это пренебрежение, это презрение».

А ведь считается, что Ленин был самым образованным из ведущих вождей революции (все они, увы, были недоучками!). Можно вспомнить, что Ленин кончил университет экстерном, то есть буквально за несколько месяцев получил высшее образование по такой специальности, овладение которой требует нескольких лет, причем, при обязательном совмещении учебы с практикой. Ах, если бы ему удалось стать мало-мальски приличным юристом!.. В роли адвоката он проиграл в суде несколько своих первых дел и после этого подался в политику.

Комплекс недоучки, несомненно, во многом определил жизнь и деятельность всех без исключения большевистских лидеров. Почему-то историки упускают из виду это совершенно очевидное обстоятельство, которое сыграло свою огромную трагическую роль в истории Советского Союза.

Вспомним лишний раз кое-какие факты. Сталин – пять лет семинарии, которую так и не окончил. Профессиональными революционерами без высшего образования были: Свердлов, Троцкий, Бухарин, Каменев, Молотов, Дзержинский, Каганович, Хрущев, Калинин, Луначарский.

Некоторые дополнительные детали. Свердлов окончил пять классов гимназии, потом работал учеником аптекаря. Троцкий и Молотов обучались в реальном училище, которое давало только среднее техническое образование. Бухарин покинул университет с третьего курса. Каменев числился в студентах только несколько месяцев. Луначарский учился в университете меньше года. Калинин был рабочим, токарем по металлу, Хрущев – рабочим, Каганович – сапожником. При-

чем, последние двое были просто напросто малограмотными, умели читать, а писали еле-еле.

Так, Хрущев рассылал своим подчиненным документы с такой резолюцией: «Азнаковица!» Главный военачальник Ворошилов был пастухом, рабочим, профессиональным революционером без образования.

Похоже, что Сталин в какое-то время ощущал недостаток своих знаний. Еще в двадцатые годы он приглашал к себе для занятий известного философа Яна Стэна, который был тогда заместителем директора Института Маркса-Энгельса. Известно, что Стэн был недоволен этими занятиями с вождем, поскольку философия не прививалась Сталину. Этому не стоит удивляться: ведь нельзя братья за высшую математику, не освоив сначала арифметику. Остается добавить, что в тридцать седьмом году по указанию Сталина Стэн был расстрелян...

Сталин всю жизнь занимался тем, что редактировал и подчищал собственную биографию, уничтожал и фальсифицировал архивные документы и отправлял на тот свет людей, которые много знали о его прошлом.

Стэн знал, например, о степени его невежества. В этой связи достаточно вспомнить последние (предсмертные) «научные труды» вождя о социализме и языкознании. В лучшем случае они могут заинтересовать лишь психиатров и сатириков.

Вот такие люди, так называемые профессиональные революционеры, решали судьбу многострадальной России и ее народа.

К сожалению, всего не перечислишь

Восстанавливая правду о нашем прошлом, мы в каждом номере журнала старались вносить в эту картину все новые и новые удивительные краски. Так, мы не раз возвращались к сложной и трагической судьбе Бухарина и при этом не забыли о главном его увлечении – живописи. Он любил прово-

дить свой досуг у мольберта, ездил с ним даже в служебные командировки. Когда я узнал, что у его вдовы и дочери сохранились его картины, то сразу устремился к ним.

Меня приняла его дочь, Светлана Николаевна Гурвич, и показала несколько пейзажей, написанных маслом на хорошем профессиональном уровне. В то время Бухарин не был официально реабилитирован, о нем еще не писали в прессе, а мы не только первыми написали о нем, но и поместили на цветной вкладке его картины. Это стало очень громкой сенсацией на весь мир! С этого и началась его реабилитация.

Широкий тематический размах в освещении нашего прошлого приводил в журнал самых неожиданных авторов. Так, по старой памяти появился у меня бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ и бывший шеф КГБ Семичастный. С ним удалось сделать и напечатать в журнале его любопытные воспоминания. Следом за ним пришел ко мне Шелепин, у которого Семичастный в свое время был вторым секретарем ЦК ВЛКСМ. Шелепин предложил мне свои мемуары – в прошлом комсомольского лидера, главы КГБ и секретаря ЦК КПСС! Вспомнили мы с ним старые времена, потом он попросил меня посмотреть мемуары в его присутствии, он привез страниц триста.

Я посмотрел их, как говорится, по диагонали и сказал, что мы их берем, но надо будет над ними в редакции немного поработать. Выпирал из текста язык докладных записок, было много упоминаний о вещах общеизвестных, но фактура была. Вот один только пример.

Когда Шелепин возглавлял КГБ, его как-то срочно потребовал к себе Хрущев. Как только он прибыл к нему, тот буквально набросился на него: «Ты знаешь, что мой зять (*уже упоминавшийся выше журналист А. Аджубей – В. Н.*) шпион?!» Шелепин сказал, что в его ведомстве таких сведений нет. «А вот у меня есть!» – заявил Хрущев.

Договорились, что Шелепин в этом разберется. Похоже было, что Хрущев так и не отошел еще душой от недавних страшных сталинских затей. Но и через некоторое время Ше-

лепин не смог сообщить перепуганному тестю ничего нового о его зяте, большому любителю вина и женщин, но никак не шпиону.

К сожалению, воспоминания Шелепина в журнале не появились. Я уже поручил хорошему обработчику таких важных мемуаров заняться подготовкой этого материала для журнала, но вскоре мне позвонил Шелепин и отозвал свою рукопись.

«Скажу вам честно, – объяснил он, – я посоветовался с одним членом Политбюро, и он не рекомендовал мне публиковать мемуары». На этом все и кончилось.

Но тут же, как бы взамен несостоявшимся воспоминаниям Шелепина, принес в журнал свои мемуары Егорычев, бывший глава московской партийной организации.

В свое время он был не просто известен, но и популярен. Поэтому, думаю, его стремительный подъем к вершинам партийной власти быстро оборвался, он оказался своего рода белой вороной среди кремлевских ястребов. Его очень любопытные воспоминания дают представление о закулисной жизни вождей, скрытой от народа, об интригах в партийном аппарате, бесконечной борьбе за власть, обладание которой становится целью существования. Между прочим, он заявил: «Путь к Звездам Брежнева открыл своим примером Хрущев. Ведь у него их было четыре. Леонид Ильич довел их до пяти».

Возвратить нашему народу историческую память помогло много интересных публикаций журнала, каждая из них являлась откровением для миллионов читателей «Огонька». К таким выступлениям относится книга Баженова, личного секретаря Сталина в двадцатые годы, ему удалось вовремя убежать за границу и там издать свои воспоминания «Кремль, двадцатые годы».

Читая их, мы видим, как Сталин сколачивал свой собственный кремлевский двор, вернее, организованную политическую шайку, как уже тогда все партийные интриги вертелись вокруг борьбы за власть. Большое впечатление

производят созданные автором портреты Сталина, Кагановича, Мехлиса и других ближайших соратников вождя.

К такого же рода публикациям относится книга Орлова «Тайная история сталинских преступлений». Автор был одним из главных наших разведчиков и в конце тридцатых, спасаясь от сталинского террора, бежал на Запад.

Он рассказывает о том, как Сталин не останавливался ни перед какими преступлениями не только в нашей стране, но и зарубежом.

Эту же тему продолжила опубликованная в журнале документальная повесть Папорова. Он в пятидесятые годы работал в нашем посольстве в Мексике культурным атташе и встречался с лицами, причастными к жизни Троцкого в этой стране – многие из них принадлежали к культурной элите. Папоров подробно рассказывает о том, как по приказу Сталина был убит Троцкий.

Несколько раз мы возвращались к воспоминаниям Авторханова, бывшего партийного работника, убежавшего на Запад. Думаю, он является одним из лучших советологов, за границей он издал несколько книг о советском периоде истории нашей страны.

В частности, мы опубликовали его работу «XXV съезд – съезд Брежнева», в ней он пишет, что это «был съезд советской элиты – этого привилегированного «нового класса».

До этого такие идеи еще никогда не озвучивались для нашего общества. Мы также опубликовали другие труды Авторханова: «Брежнев – опыт политической характеристики» и «Сулов – гроссмейстер партийной идеологии».

Печатали мы в журнале и работы зарубежных советологов, у нас не раз выступал известный американский ученый Коэн, он же позволил нам опубликовать в «Огоньке» неизвестные у нас записки Каменева, хранящиеся в американском архиве. В них рассказывается о борьбе за власть после смерти Ленина, о Сталине – самом коварном мастере политической интриги.

В числе многих других иностранных авторов мы опубликовали в журнале очень любопытные воспоминания бывше-

го президента Франции Жискара Д. Эстена. Вот только одна цитата из них, он пишет о встрече с Брежневым в семьдесят девятом году, они вместе едут из московского аэропорта в Кремль. Брежнев обращается к нему:

«– Должен признаться вам, я очень серьезно болен... Меня облучают. Вы понимаете, что я хочу сказать. Порой это настолько изнурительно, что я вынужден прерывать лечение. Врачи утверждают, что есть надежда. Это здесь, в спине.

Он тяжело поворачивается.

– Они рассчитывают меня вылечить или, по крайней мере, стабилизировать болезнь...»

О многом говорит эта житейская деталь. Тяжело больной и уставший человек управляет великой державой! Так надо, это выгодно его прихлебателям. Такие бытовые детали порой важнее политических свидетельств, без таких подробностей история мертва, но о них-то люди меньше всего знают.

И меня, признаться, удивило это откровение французского президента, ведь в качестве корреспондента «Огонька» я сопровождал Брежнева в зарубежных поездках, знал его окружение и немало из того, что огласке не подлежало, но вот о том, что его облучали, не знал. Просто видел, как он слабел и дряхлел.

Исторической бытовой хроникой явились опубликованные журналом очень занимательные воспоминания московского музыканта Елагина о соприкосновениях в тридцатые годы высшей партийной элиты с московским музыкальным и литературным миром. Ему удалось уехать на Запад, и там он написал книгу «Укрощение искусств», из которой мы, в частности, узнаем, насколько низменны были вкусы и улады наших вождей.

Кстати, в этих воспоминаниях приводится цитата из Платона: «Но один закон наши правители должны соблюдать строго, никогда не упускать его из внимания и следить за ним с большей тщательностью, чем за всеми другими. Мы должны держать новые виды музыки в отдалении от нас, как опасность для общества. Потому что формы и ритмы музыки

никогда не меняются, не производя изменений в важнейших формах и направлениях».

Удивительно верное наблюдение древнего мудреца!

Гармоничным сплавом житейских и политических воспоминаний стали опубликованные нами мемуары Хрущева. И в этом случае мы были, как обычно, первыми среди всех других советских изданий. Как и многие другие наши публикации такого рода, эти воспоминания носили сенсационный характер и привлекли к себе всеобщее внимание.

Причем, нам самим не надо было заботиться о рекламе, за нас это делали наши власти. В данном случае история была такова.

Мемуары Хрущева в американском издании составили два больших тома. Такой труд малограмотный Никита Сергеевич никогда бы не осилил, если бы на помощь не пришла современная техника. Сидя на пенсии, он наговорил свои воспоминания на пленку и в таком виде они оказались на Западе.

Сразу после выхода этих мемуаров в Америке их у нас объявили фальшивкой. И в результате – сами себя опозорили. Мы на это большие мастера! Даже вынудили Хрущева заявить в газете «Правда», что он не писал этих мемуаров. Тут он соврал, можно сказать, наполовину: он, действительно, их не писал, а наговорил на пленку.

Вслед за этой публикацией мы напечатали в журнале воспоминания сына Хрущева, Сергея, о том, как на самом деле создавались мемуары Никиты Сергеевича.

К опубликованным в журнале многочисленным мемуарам и интервью о нашем прошлом, которое десятилетиями скрывалось от народа как самая страшная государственная тайна! – примыкают по своей значимости и чисто документальные материалы, их мы тоже немало напечатали в журнале. Например, судебные стенограммы.

Их, конечно, надо было с большими трудностями разыскивать, но игра стоила свеч. Уж больно ярко в таких публикациях освещалось наше недавнее и постыдное прошлое, в

том числе судьи и свидетели обвинения, паноптикум, какого не придумал бы и Кафка!

Так, мы опубликовали стенограммы суда над Иосифом Бродским, будущим Нобелевским лауреатом, над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Подробно рассказали мы и о том, как преследовали и судили двух гениев нашей науки, Вавилова и Чайнова.

Мы также поведали о трагедии великого русского ученого и конструктора Рамзина, который под давлением властей согласился участвовать в процессе над «врагами народа» из рядов инженерно-технической интеллигенции.

Кстати, второго Рамзина карательные органы пытались сделать из нашего великого ученого-аграрника Чайнова, но с ним у них это не получилось, он погиб в застенках.

Не забыли мы рассказать своим читателям и о том, как на самом деле создавались широко известные мемуары Жукова. Дело в том, что к моменту их написания уже существовала официальная точка зрения на историю Великой Отечественной войны, выработанная ЦК партии совместно с руководством Министерства обороны, причем, в основном она исходила из установок, созданных в ходе войны и в первые послевоенные годы еще при Сталине и, разумеется, при его непосредственных и непререкаемых указаниях. То есть мы не имели достоверной и полноценной истории самой кровавой войны из всех, пережитых человечеством.

В рукописи мемуаров Жукова многое расходилось с официальной точкой зрения, поэтому их текст перед публикацией рассматривался в ЦК партии буквально под лупой и беспощадно правился.

Мы опубликовали в нескольких номерах журнала воспоминания редактора маршальских мемуаров Миркиной, близкого к Жукову человека, которому он полностью доверял. Она подробно рассказала о том, как трудно приходилось Жукову, как многое редактировалось в ЦК и сокращалось.

Так что мы, к сожалению, имеем все же не тот текст, который маршал хотел бы оставить потомкам. Как уже указы-

валось выше, история Великой Отечественной войны и в XXI веке больше всего нуждается в знающих и добросовестных авторах.

Рассадник страха и морального СПИДа

В годы перестройки в «Огоньке» начали выступать бывшие и действующие сотрудники КГБ, даже это ведомство не устояло под напором гласности! Так, мы рассказали в журнале, как в Ростове-на-Дону взбунтовались сотрудники местного КГБ, не желавшие работать по старым методам, о которых нам рассказал в числе прочих авторов Любимов, полковник в отставке, наш бывший разведчик в Дании и Англии.

Михаил Любимов пришел ко мне в редакцию прямо с улицы, мы не были знакомы, и предложил журналу... свой роман. Я прочитал его и был приятно удивлен.

В слегка закамуфлированной форме, причем, весьма изящной, автор вводил читателя за кулисы нашей внешней разведки, он с большим знанием дела и к тому же с юмором описывал ее повседневную деятельность. В тексте легко узнавались руководители КГБ брежневской эпохи.

Ко всему прочему роман был ловко, по-детективному закручен, до самого конца повествования невозможно было догадаться, кто же из действующих лиц, сотрудников КГБ, работает на иностранную разведку.

Роман «...И ад следовал за ним» был опубликован в журнале и затем издан отдельной книгой. После этого Любимов не раз выступал в журнале со своей публицистикой. Вот несколько строк из его интервью:

«КГБ давно созрел для реорганизации, и я не понимаю тех его руководителей, которые утверждают, что вся система сложилась исторически и поэтому, мол, не нужно менять структуры. Именно потому и нужно менять, что у нас сложилась жесткая полицейская система, охраняющая тоталитарный режим от некоммунистических идей и «тлетворного влияния Запада». Шпиономания со времен Сталина была

поставлена во главу угла пропаганды. Органы контрразведки непомерно разрослись (Берия и не мечтал о таких масштабах!) и поставили под контроль все контакты наших граждан с иностранцами.

Боюсь, что мои идеи не вызовут энтузиазма ни в КГБ, ни в ЦРУ. Покажется парадоксальным, но, находясь в состоянии тайной войны, раздувая шпиономию и мощь противника, противостоящие спецслужбы как бы подпитывают друг друга и попадают во взаимозависимость. Козни врага постоянно преувеличиваются, бюрократические аппараты растут, и за все это расплачивается налогоплательщик, не имеющий возможности разобраться в происходящем из-за тумана секретности».

Последняя мысль о подпитывании друг друга противостоящими службами, по-моему, очень актуальна и ее можно распространить не только на сферу разведки, например, на военные ведомства и другие.

Из всех журнальных материалов на подобные острые темы особенно выделился опубликованный в двух номерах «Дневник стукача», написанный Экштейном. Одно лишь прикосновение к этой заповедной теме вызывает ярость у тех, кто опутал системой доноительства буквально всю страну и положил ее в фундамент партийно-государственной власти. По признаниям самих сотрудников карательных органов, счет нашим стукачам идет на миллионы, они есть во всех организациях, учреждениях, воинских частях, учебных заведениях и тому прочее.

Экштейн – один из них. Прошел путь от стукача, работавшего среди уголовников, то есть на министерство внутренних дел, до стукача КГБ. Вот что он пишет о Главном управлении исправительно-трудовых учреждений при МВД:

«ГУИТУ является не исправителем преступников, а множителем их методов в жизни. Там уже давно произошло слияние мыслей и целей. Я видел! Я знаю!.. Вся администрация исправительно-трудовых учреждений содержится за счет преступности и кровно заинтересована в большом

количестве заключенных. Будьте осторожны, обратите внимание на глубинную сеть ГУИТУ! Вы что, не видите, что это законсервированный на время ГУЛАГ?.. По телевидению как-то задавали вопрос одному эксперту из ученых в соответствующей этому вопросу передаче: «Нужен ли штат осведомителей?» Он ответил: «Видимо, все-таки нужен». Штат?! – Армия!!! Огромная, многомиллионная, страшная по своей разрушительной силе армия. Безобразная и ядовитая бородавка органов».

«Дневник стукача» состоит из таких эпизодов, от которых становится страшно. Во что превращают человека в системе МВД и КГБ, когда насильно, всеми правдами и неправдами, вербуют его в стукачи! Каким моральным СПИДом заражают все наше общество оперы, работающие со стукачами! В записках Экштейна десятки конкретных сотрудников органов, их имена, их звания, должности, адреса и даже телефоны. После этой публикации в редакцию никаких претензий или опровержений не поступало.

В мемуарах очень популярного у нас писателя Вениамина Каверина «Эпилог» меня поразил его рассказ о том, как в Ленинграде во время блокады (!) его трижды пытались завербовать стукачом в местном КГБ.

Знание о существовании такой бесперебойно действующей системы не позволило мне ни разу посетить живущую в США мою школьную однокашницу Светлану Сталину. Если бы я в одну из моих поездок по Америке заехал к ней без согласования с КГБ, то наверняка имел бы большие неприятности. Убежден, что за ней и в США наши агенты присматривали.

Если бы я попробовал согласовать этот вопрос в Москве заранее, то, несомненно, меня нагрузили бы какими-то поручениями, тут же бы зачислили в свои стукачи.

Мне очень жаль упущенной возможности повстречаться со Светланой в Америке, ведь я довольно много написал о ней и, несомненно, смог бы значительно расширить уже написанное.

Госплан на Лубянке

Годы перестройки были исключительно богаты на неожиданные встречи с интересными, порой просто удивительными людьми. Редакция журнала превратилась в своего рода яковинский клуб, куда ежедневно приходили званые и незваные гости, как правило, выдающиеся представители в своих сферах деятельности: литературе, искусстве, науке, политике, экономике... Даже сотрудники карательных органов! Причем, один из таких руководителей Лубянки оказался личностью из ряда вон выдающейся. Уже сама история его появления в «Огоньке» очень занимательна.

Звонит мне как-то мой старинный приятель, всемирно известный шахматист, гроссмейстер Бронштейн и просит меня принять в «Огоньке» «одного интересного человека».

«Поговори с ним, не пожалеешь», – сказал он и добавил: «Он, кстати, профессиональный шахматист, автор нескольких прекрасных книг о шахматах».

И вот у меня в кабинете появился Борис Самойлович Вайнштейн, ему было уже за восемьдесят, но голова его работала превосходно, а держался он просто молодцом, бодро и прямо. Сразу подарил мне две свои книги о шахматах. Позже я просмотрел их, настоящая профессиональная работа, сделанная с большим вкусом и выдумкой.

Но мудрый Бронштейн прислал его ко мне совсем не в качестве талантливого автора. Оказалось, что это занятие было просто любимым делом Вайнштейна, как говорится, для души. А работал он в течение многих лет в НКВД (затем – КГБ), причем, непосредственно с Берия, плечом к плечу с ним!

Вайнштейн был крупным ученым и практиком, доктором экономических наук. Он много лет возглавлял сектор капитального строительства, а потом – плановый отдел, был заместителем начальника Главоборонстроя.

Этот сухой перечень его должностей, думаю, мало что скажет современному читателю. Можно сказать, что он возглавлял при Берии Госплан на Лубянке. А сам Берия

много лет возглавлял систему, в которой работали десятки миллионов человек – сотрудников и заключенных! В то время лично под Берия находился весь наш необъятный военно-промышленный комплекс, включая атомную промышленность.

Такой гигантской военно-строительной и одновременно карательной империи не было никогда и нигде за всю историю нашей цивилизации!

В своей повседневной работе Вайнштейн постоянно тесно общался с Берия, и тот ценил его.

Естественно, я попробовал разговорить Вайнштейна, такие визитеры не каждый день приходят в редакцию. За один раз мы не наговорились, вскоре он снова посетил меня. Я уговаривал его написать воспоминания для журнала, ведь он прекрасно владел пером! О чем же он мне рассказывал?

Прежде всего о том, что Берия был талантливым организатором производства и науки, к тому же прекрасно разбирался в людях, видел их насквозь, отбирал и выдвигал нужных специалистов безошибочно. Именно от Вайнштейна я лишний раз узнал, что наше атомное оружие – это во многом заслуга Берия, которому Сталин лично поручил это дело.

Вполне естественно, что Вайнштейн, отдавая должное своему хозяину как созидателю, словно бы забывал о том, что тот возглавлял еще ко всему прочему и ГУЛАГ.

Вайнштейн говорил мне, что расправа с Берия в пятьдесят третьем году, вскоре после смерти Сталина, нанесла стране непоправимый урон, поскольку у того были большие планы по перестройке всего нашего хозяйства, политики и образа жизни, причем, он начал их уже осуществлять.

В частности, Борис Самойлович утверждал, что его шеф был противником центрального планирования, собирался ликвидировать колхозный строй, уже решил для себя отпустить на волю ГДР и тому прочее. Естественно, что при Сталине он обо всем этом и заикнуться не смел, причем, по словам Вайнштейна, гениального вождя Берия ненавидел.

Это его свидетельство вполне подтверждается тем, как повел себя Берия во время агонии Сталина. По Вайнштейну, Берия вообще во многом поспособствовал смерти вождя, поскольку последний стал уже явной угрозой для всех, в том числе и для Берия.

На мой вопрос о моральном облике своего шефа Борис Самойлович ответил, что тот в этом смысле был не лучше и не хуже других кремлевских небожителей, но был, правда, беспощаден в борьбе за власть.

Вайнштейн также утверждал, что «дело врачей» в пятьдесят втором году было спровоцировано самим Берия, чтобы лишить вождя привычного и надежного медицинского окружения и квалифицированной помощи.

Что ж! На этом самом высоком уровне придворной жизни пощады никогда не знали. И сам Берия, как утверждал Вайнштейн, был убит сразу же после ареста, а суд над ним был спектаклем. Кстати, это соображение совпадает с мнением некоторых других лиц, причастных к тем событиям.

Много интересного вспоминал Борис Самойлович о Ежове, который возглавлял НКВД до Берия и по приказу Сталина развязал массовый террор в середине тридцатых годов, а вскоре сам стал его жертвой. Понятно, что Берия никак не хотел повторить судьбу своего предшественника.

Вайнштейн высказывал мне очень любопытные суждения о нашей индустриализации, системе массового принудительного труда и других проблемах. В них был виден человек, не лишенный здравого смысла и самостоятельности суждений – сказался, наверное, шахматный аналитик. По его словам, Берия как-то сказал ему: «Ты, Вайнштейн, хороший работник, но если бы ты лет шесть провел в лагерях, то работал бы еще лучше». Юмор палача!

Возможно, в воспоминаниях Вайнштейна о многолетнем сотрудничестве с Берия есть что-то от поклонения старому слуги своему хозяину, тем не менее, я был уверен, что публикация его мемуаров в журнале может стать редчайшей сенсацией. Мы договорились, что он их напишет – думаю, они у

него уже в каком-то виде были – и принесет только ко мне. Возможно, тут сыграло роль и то обстоятельство, что я отдал шахматам в своей жизни немало времени, что Вайнштейн не мог не оценить.

К сожалению, вскоре случился путч девяносто первого года – тогда печально прославился, так называемый, ГКЧП, началось смутное ельцинское время, по сравнению с которым пятилетнее горбачевское правление казалось более стабильным и многообещающим. Наступившая неразбериха, наверное, смутила Вайнштейна, мемуары которого в случае их публикации не могли не осложнить жизни их автора. К тому же я вскоре покинул «Огонек» и не смог бы принять участие в этом деле.

В девяносто третьем году (меня тогда уже не было в «Огоньке») в газете «Известия» была напечатана беседа с Вайнштейном, но что это значило по сравнению с книгой воспоминаний, которая могла бы появиться, не случись того дурацкого путча! Любопытно, что в тексте опубликованной в «Известиях» беседы, помянули слова чеховского героя Лаевского: «Всей правды не может знать никто». Верно, особенно в нашей стране.

За годы перестройки мы в своем журнале немало писали о строительно-тюремной империи, которую возглавлял Берия, о так называемых «великих сталинских стройках коммунизма». Ловко наши власти окрестили все те бесчисленные и необъятные сооружения, которые возводили узники ГУЛАГа!

Таких строек, невиданных по своему размаху, было немало, начиная с Беломорско-Балтийского канала и кончая Волго-Доном.

«Это было на великих стройках» – так назывались опубликованные в журнале воспоминания Иванова, строителя по профессии, одного из руководителей этих строек.

Ему, между прочим, довелось демонтировать на Волго-Доне гигантский монумент Сталина, высота всего сооружения, с постаментом, составляла более восьмидесяти метров, а фигура вождя была сделана из красной чеканной меди.

Этот, наверное, самый дорогой из всех памятников тирану возвышался над тысячами заключенных, превращенных в рабов у его подножия. Как известно, Сталин лично предложил свой способ построения социализма в одной стране: рабский труд миллионов, загнанных за колючую проволоку.

Иванов, не охранник и не зэк, а профессиональный строитель, видел все происходившее как бы со стороны, и поэтому его воспоминания об изуверском отношении к заключенным, об их адском непосильном труде не могут оставить равнодушным.

Покаяние у нас не в моде

Продолжая и развивая историческую тему, мы постепенно углубляли ее, просвещали читателей и сами учились. Добрались наконец и до Ленина.

В нескольких публикациях мы рассказали о неизвестном для нас вожде Октябрьской революции и создателе советского государства. Например, напечатали беседу с одним из лучших наших прозаиков и знатоков того времени Солоухиным под названием «Расставание с богом». Этот большой материал предваряло предисловие Виталия Коротича.

Ведь только сравнительно недавно стало известно, что от истории и нашего народа утаили ленинских документов на семь томов (!), их содержание абсолютно по-новому раскрывает привычный образ Ильича. Хотя, по правде сказать, уже изданного в ленинском собрании сочинений достаточно для того, чтобы при внимательном чтении понять его роковое значение для судьбы России и ее народа.

При упоминании об этом тут же возникает проклятая истина: мы сами такого вождя заслужили. Так же, как и Сталина. Талантливейшая поэтесса и великая мученица Ольга Берггольц писала (мы опубликовали эти стихи в журнале):

*Они ковали нам цепи,
а мы прославляли их...*

*Мне стыдно моих сограждан,
как мёртвых, так и живых.*

«Огонек» не раз писал, что у нас почему-то считается дурным тоном говорить о покаянии.

Но пока мы не покаемся, мы не очистимся и не сможем идти дальше. Никто не желает признать, что мы несем свой крест, что все беды – расплата за наши собственные преступления и грехи. Надо же наконец набраться мужества и признать эту очевидную истину, назвать все вещи своими именами. У хрупкой истерзанной в КГБ женщины, Ольги Берггольц, это мужество нашлось.

Александр Николаевич Яковлев писал в «Огоньке» по поводу указов Ельцина о восстановлении прав репрессированных и об отмене старых постановлений против инакомыслия. В частности, он заявил: «Это акты справедливости, но, на мой взгляд, и акты покаяния».

Да, увы, это только на его взгляд, это ему самому так хотелось бы, но до сих пор ни о каком покаянии власть имущие у нас никогда не говорили и, похоже, говорить не собираются. А ведь еще Николай Бердяев предостерегал: «...Духовно можно считать, что источник зла вне меня, а сам я сосуд добра... Нет, источник зла во мне самом, и я должен и на себя переложить вину и ответственность».

В «Словаре русского языка» Ожегова можно прочитать: «*Каяться*. Сожалея, признавать свою ошибку, вину», «*покаяние*. Добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке».

А вот за сто лет до Ожегова, в девятнадцатом веке, в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля напечатано: «*Покаяться*. Принести покаяние, признаться в проступке, исповедаться в грехах и раскаяться; отречься от прежней, дурной, греховной жизни, сознательно приступить к лучшей».

Весьма примечательна разница в определениях! Половину смысла (отречься от прежней жизни и сознательно при-

ступить к лучшей) мы по пути к коммунизму потеряли, а о первой половине толкования этого термина просто забыли. Современный энциклопедический словарь, изданный в конце прошлого века, вообще относит покаяние к устаревшим, церковным понятиям.

До тех пор, пока мы будем винить во всех наших бедах только коммунистов, евреев, иммигрантов или американцев, покоя и достатка нам не будет.

Поэтому «Огонек» не только рассказывал правду о нашем прошлом, но и призывал очиститься от него, признаться в наших прошлых и настоящих грехах и тогда уже идти дальше к лучшей жизни.

Правда, и в то время ощущалось отчаянное сопротивление всему новому, особенно разоблачению сталинских преступлений и установлению подлинных рыночных отношений.

И до сих пор, уже в XXI веке, это противостояние никак не завершится...

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Наталья Арбузова

Сияющий столп

Ока течет, оглядываясь за поворотами. Несет надкушенные яблоки – на них в это лето никто глядеть не хочет. Течет, заносит илом низкорослый ивняк. Передвигает тихонько песчаные отмели. Берег высокий – Танька и сама хотела бы тут лежать. Прямо сейчас умереть и не встать, до того хорошо.

Отойдешь от реки в рощу – там старые коленчатые березы. Сядешь, как в кресло. Ишь, вытянули всю влагу из долинки – сухая земля прогрелась. Васёк идет босиком с удочкой, остановился.

– Танька, тебе чего завтра подарят?

– Не знаю... а тебе?

Им исполняется пятнадцать, они близнецы. Двухлетнюю Таньку при разводе забрал отец-художник, с него тогда и копейки было не взять. Васёк достался матери. И по виду – высокая большеглазая Танька похожа на Ростислава, веснушчатый востроносый Васёк на Тому. Лишь к лету теперь приезжают на машине – отец с женой, бабушка Рита, что растит Таньку, и она сама.

Тома работает здесь в столовой, Васёк ходит в школу.

– Пошли, Васёк, к нам, тебе от бабушки Риты тоже что-нибудь перепадет.

– Да ладно, мне уже от бабушки Фроси по шее перепало.

– Пошли, пошли.

Идут по мосткам через овражек, заросший бальзаминами. Бабушка Фрося, легка на помине, загоняет свинку. Та уклоняется, оступаясь в канаву. «Вот и ноги перломаешь», – отмечает бабушка Фрося с удовлетворением. Наставив свинку на путь истинный – на торную тропинку – наконец, реагирует на Таньку: «Эк вымахала девка». Потом снова обращается к свинке: «Погибели на тебя нет». Брат с сестрой прыскают. Получается, что на Таньку нет гибели.

Покинув бабушку, взбираются на горку к другой. Таруса на колесах высоко стоит. Красивая бабушка Рита под яблоней печет оладьи на дровяной садовой печке. Яблоки, падая, разбиваются о чугунную плиту и сами пекутся, издавая заманчивый запах.

– А, Васёк, здравствуй, милый... сейчас будем есть оладьи с печеными яблоками.

Васёк садится на краешек стула. Вежливо поевши оладьев, сматывает удочки.

Вваливается отец с женой и гостями. Набивают березовые поленья в три багажника и кортежем отправляются на Оку жечь костер, прихвативши Таньку и оставив бабушку Риту сумерничать в саду.

Стоит великая сушь. Дрова на берегу, на ветру, так и полыхнули. Затрепетало, загудело пламя, рванулось лоскутьями ввысь. Молодая переводчица с испанского взяла гитару и запела по-испански. Знаменитый текст – начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Не надо знать каждого отдельного слова, понятно по интонации.

Кругом заклубилась мгла, а огонь поет свое: у меня светло, у меня тепло – красно летечко!

Танька отходит в сторонку, издали смотрит в очерченный круг света. Какие-то ничейные стихи, которые она не смеет еще назвать своими, начинают звучать в голове:

*Костру, человечьему голосу в темной ночи, что так легко
звучит –
Огня сияющий столп летящий звук освещает, будто Господь
из огня вещает –*

*Костру, человечьему голосу отдайте мои слова,
И тёмным теням затихающим справа и слева.
Тени моей затихающий трепет отдайте, и не рыдайте,
Когда лишь пепел холодный его сохранит поутру.
Тише – когда умру.*

Танька глядит на звезды – они в августе на небе плохо держатся. Не успевают придумывать желания, твердит одно и то же: чтобы бабушка Рита подольше прожила; чтоб она, Танька, была при ней и к мачехе в дом не попала.

Это желание не сбылось Танька перестаралась в своих просьбах к звездному небу – нечаянно спугнула судьбу. Но сейчас она об этом еще не знает. Хотя кто поручится. Может быть, такая настойчивая мольба – уже догадка.

Васёк с товарищами шатается в темноте. У матери шофер, он потом уйдет. Пока что курят утащенные у шофера сигареты. Дразнят собак, те никак не уймутся. Трясут яблони, свесившиеся через забор. А чего трясти – земля и так усыпана. Закапывать не успевают. На базаре яблоки дешевле картошки, и то ни один приезжий не берет. О своих и говорить нечего. Странное дело – дождей все лето нет, а грибы в лесу пошли кольцами от каждой грибницы. С кольца по полведра. Жарили, солили, теперь и на них не глядят. Люди говорят – к войне.

Капуста завилась плотными кочнами – не унесешь. Крали и красть устали. Куры высидели Бог знает сколько цыплят, они подростками бегают по дальним оврагам. Лови – не хочу. Такому шею свернуть – милое дело. Жгут свои пацанячьи костры, поджаривают цыплят на листах железа. Носят соль в кармане. Цыплячья кожа хрустит на зубах.

Что дерево трясти – само в срок яблоко спадает спелое. Маргарита Александровна замаялась подбирать свою коричневку в тонких прожилках – гости ордой топчут мягкие яблоки. Стоит, усталая, провожает взглядом падающие звезды. Загадывает без уговора Танькино желанье. Чтоб ей, старой переводчице, посидевшей, пораженной в правах, при-

ютившейся тогда за сотым километром – еще пожить. Чтоб Таньке к мачехе не идти. А тайная опухоль растет как гриб в это буйное лето.

Полночь упала – так падает занавес. Отец чокнулся с женой и гостями. Поздравил Таньку с днем рождения. Васёк поглядел на них из кустов, потом тихо свистнул друзьям, и побежали в темноте купаться.

Вышла из тумана стреноженная лошадь. Стали подсаживать друг друга к ней на спину, она брыкалась. Танька слушала тихое ржанье и жалела, что их с братом поделили так, а не наоборот. Однако же зависть в дворянском дитяти посеять нам было бы жаль.

Когда Васёк пришел домой, шофер еще был там, сидел выпивал, и Ваську досталось за позднее возвращенье. Сами посудите, мог ли он придти раньше. Васёк был человек тактичный. Не стал спорить, только стрельнул из кармана не очень трезвого шофера еще полпачки сигарет.

Мать не сообразила, что завтра уж настало, и Васька можно поздравить. Васёк и на это не обиделся. Лег зубами к стенке смотреть свои сны. В них лошадей было явно больше, чем наяву. А утром мать рано ушла – подарка теперь надо ждать до вечера. И это Васёк проглотил. Оделся почище, чтоб днем заглянуть в тот, верхний дом.

Вышел на берег и получил свой подарок. За ночь цыгане встали табором над Окой, растянувши цветные польские палатки – такая мало у кого есть. Вот откуда вчера взялась лошадь. Забегали близ воды цыганята – в рубашонках без порток, с неперменной соплей до земли.

Лошадей оказалась две, одна вчерашняя, другая с пегим жеребенком. С телег еще сняли не весь скарб. Цыганки в многочисленных юбках разбирали самовары и чашки, перекликались гортанными голосами, напевали обрывки песен. Что-то их было очень уж много.

Ясно одно – на телеги сажали только ребяташек, сами же шли пешком. Девочки лет по десяти показывали подругам какие-то танцевальные движенья, прищелкивая пальцами.

Васька окружили темнолицые мальчишки, стали кланчить сигарет. У него сколько-то было в заначке. Долго жался, потом отдал. Взрослых мужиков было совсем не видно. Должно быть, не вернулись еще с небезопасного ночного дела.

Дома Васёк достал огромную тетрадь и акварельные краски, подаренные той, верхней бабушкой в прошлое лето. Налил воды в баночку из-под майонеза. И вдруг рука пошла сама рисовать и нарисовала больше, чем увидели глаза. Не просто тенты палаток и оборки юбок. Движение, воздух, звон голосов, дрожь натянутых веревок.

Васёк высушил рисунок, выполненный по мокрой бумаге – подсмотрел у отца – и спрятал. Спрятал все улики своего нового занятия. Кисточку, краски, альбом, на обложке коего великолепным почерком бабушки Риты было написано: тетрадь сия принадлежит и никому не подлежит. Никому не подлежал непонятный дар, полученный Васьком в день пятнадцатилетия.

Никого не касался внезапно открывшийся в нем врожденный талант к изобразительным искусствам, развитию которого интеллигентность даже вредит.

Васёк погляделся в зеркало, причесался и пошел наверх к отцу как равный.

Впереди над холмом стоял облачный столп с крыльями и нимбом.

Четыре котопея

Посвящается А. Ш.

Дядя Шура скучал без кота. Уж нашел бы он лишний кусок колбасы, хотя времена, что греха таить, были с легкой приголодью. Ну, там, молочка, много ли коту надо. Заодно и себе, за общую вредность жизни. Лишний раз пива не попил бы. Денег-то у дяди Шуры было кот заплакал. Но кота

ему положительно не хватало. Ему всего не хватало, чего ни хватись.

Только не мышей. В мышах недостатка не было. То есть мыши прямо таки достали дядю Шуру, хотя тогда еще так не говорили. Мыши забирались по вертикальной стене на второй этаж. Пролезали в узкую щелку форточки, подвязанной резинкой от давно изношенных трусов. Сам видел, и сосед Толя не даст соврать. Как в балладе Жуковского про епископа Гапона, которой ни дядя Шура, ни сосед его Толя никак не могли знать.

Добро бы была кирпичная стена, тогда понятно, там есть за что зацепится. А то гладкая панель. Такие с готовыми окнами везут с завода на специальной платформе, прислонив друг к дружке, как в карточном домике. Везут мимо таких же панельных домов.

Только привычные дядишурины глаза на своей улице Лихоборские Бугры ничего такого удивительного не видели. Вот чересчур проворные мыши – это да. Но уж коли мыши ходили к дяде Шуре, выходит, дела его были не так плохи. Кой-какие крохи мыши находили. Так что кот был функционально необходим. Вот, казалось, замурлыкай у него кот, да засвисти во всю мочь новый чайник со свистком в носу, сестрино подаренье, то и жизнь пойдет веселей.

С таким вот оптимистическим настроем идучи с завода, которых в этом районе хоть пруд пруди, заглянул дядя Шура на всякий случай в магазин самообслуживания возле дома, нет ли часом какой колбаски. Шаром покати, уж кассирша – и та отошла. И тут, поди ж ты, кот стал тереться о дядишурины ноги.

Магазинные коты – это целое сословие, все равно что продавцы продмагов в долгую эпоху дефицита. Сытые, отупевшие, ко всему на свете равнодушные, эти коты мышей не ловят. Мыши сами уходят от их запаха, не выдержав нервного напряжения. Коты спят на слабых узеньких батареях – гармошках, свисая толстыми боками на обе стороны. Редко когда выйдут погулять по клетчатому полу. Покупате-

лей в упор не видят. Перенимают все повадки у продавцов, хитрые бестии. А тут нате вам. Дяде Шуру тут бы вспомнить, что позавчера нес он из заводского магазина на вытянутой руке в скупо отмеренной бумажке селедку. Закапал и без того замызганные брюки с откровенной бахромой. Принял приязнь магазинного кота за чистую монету, забыл про вожделенную колбасу и весь отдался ласке.

Сам того не замечая, зашел далеко – за прилавок в подсобное помещенье. Там на пути дяди Шуры в полумраке встала женщина ширше як довше, в белом квадратном халате, с квадратном темно-багровым лицом, с квадратной челкой, лихо загнутой феном. Она та-ак взглянула на дядю Шуру, что в мозгу его всплыли из прежних времен жесткие глаза жены Раи.

Мороз пробежал по дядишуриной спине. Магазиная краля процедила сквозь золотые зубы: «Ты чего это там рыскал?» – «Я, я...» – запнулся дядя Шура, а ноги уж сами вынесли его в торговый зал. Но в голове осталось имя для кота – Рыська.

Фу, слава Богу, он на улице. И кот – чудеса, да и только, идет с ним. Как собака по команде «рядом». Тут дядя Шура с ужасом увидал, куда это кот косит глазами. Оказывается, рука его в тесноте заставленного ящиками коридора машинально прихватила целую палку сырокопченой колбасы, да такой, какой он близко не видал и не едал. Большую упругую палку, которой можно драться не хуже резиновой дубинки. Дядя Шура поспешно сунул колбасу за пазуху, схватил кота поперек живота и пустился домой так шустро, будто в спину ему дули все ветры из мешка Эола, развязанного любопытными спутниками Одиссея.

Вот уж он в своей комнате. В скучной отдельной квартире, превращенной в коммуналку путем разводов и разменов. В привычную коммуналку, нескучную, что твой Нескучный сад. Запер на замок не предназначенную для замков легкую дверь из тех, что в дружных семьях то и дело снимают с петель, обращая в праздничный стол.

Прислушался, как там сосед Толя. Тихо.. Бывало, буянил, ругался почему зря, пока Господь не вразумил его посредством рельса. На рельс Толя упал виском в умеренно пьяном состоянии, после чего стал тише воды, ниже травы. Однако в те времена дядя Шура о господе Боге еще не задумывался, а только лишь о колбасе насущной.

Сейчас он спустил кота на пол, вынул из-за пазухи колбасу, любясь обоими своими трофеями. Никак не мог решить, какой из них тяжелее, толще и драгоценнее. Трепетными руками отрезал колбасы себе и коту. Съели. Зажравшийся кот добавки не спросил, себе же дядя Шура пожалел. Хотел было погладить кота от полноты чувств, но тот увернулся из-под рук, без разбега вскочил на подоконник. Оттуда на козырек над подъездом и вниз, без тени колебанья. Только толстый, почти голый хвост мелькнул.

Дядя Шура остался один посреди маленькой комнатунки, похожей на купе в поезде дальнего следования. Остался с разинутым от удивления ртом, в который как-то ненароком заехала початым концом колбаса. Так он стоял долго, являя собой зрелище преуморительное, коему не доставало только зрителей.

Два дня дядя Шура ходил как в воду опущенный, безо всякого удовольствия поджывая колбасу. Он кружил около магазина, и с улицы и со двора заглядывал в двери. Но зайти боялся, а покупки делал у себя на заводской территории. На проходной показывал все свертки, неловко разворачивая.

Мимо, толкаясь боками, пробегали свои же товарищи, хватившие перед самым звонком казенного спирта и спешащие миновать проходную не окосев.

На третий день, подходя к дому, он увидел своего кота переходящим ему дорогу как раз в полу, то есть справа налево. У дяди Шуры дух занялся, и он со слезами в голосе позвал: «Рыська, Рысенька!» Но в тряпичной сумочке нес только серый нарезной батон, и кот не внял голосу любви. Больше дядя Шура его не встречал. Должно быть, кот переселился в другой магазин, где посытней.

Что долго печалиться. Дядя Шура поехал к сестре Тамаре в Лианозово. Знаменитые лианозовские бараки, живописанные художником Крапивницким, еще прижимались к земле животами, как рыжие таксы. Прогибали изломанные крыши, словно перебитые спины. Но уж панельные дома со своими стандартными окошками почти закрыли их, нисколько при этом не делая в пейзаже.

У дяди Шуры была мыслишка, не даст ли сестра картошки, а то и чего другого, поскольку та работала на хлебозаводе. Муки не мешало бы, маргарину. Соли бы тоже неплохо, когда-никогда посолить несколько наловленных рыбешек. Все в дом, а не из дома.

Сошел с электрички, огляделся с платформы. Вдали, возле станции Марк, виднелись трубы мусорного крематория, приводя на ум сцены из «Сталкера». Но дяде Шуре все было невдомек, что сталкер, что Крапивницкий. Он думал о муке, много ли сестра успела вынести и сколько достанется ему.

Вот уж он в сестриной комнате, за стеной чужая семья и с детками. Сестра хлопочет, собирает на стол и уж загодя отсыпает ему муки из старой наволочки в другую поменьше.

Тут из-под кровати вышел молодой котик, ну как семнадцатилетний паренек, с чуть кудрявыми, обожженными от любопытства усами. Дяде Шуре показалось, что это сынок его Рыськи от какой-то миловидной кошечки. Неотесанное дядишурино сердце подтаяло, как мартовский сугроб.

Испросить у сестры kota после торопливого ужина было минутным делом. Сославшись на одолевающих его мышей, дядя Шура сунул kota в воняющую мерзкой клеенкой сумку. Едва не забыв про муку, побежал, переваливаясь в негнущихся, стоптаных и спереди и сзади башмаках к платформе Лианозово.

Ну и стервец был этот младший Рыська, таких поискать. Дядя Шура привез его домой, выпустил в прихожей на половичок и, не разуваясь, пошел на кухню напиться воды после Тамариного винегрета.

Над раковиной висел уполовник. В уполовнике сидел мышонок. Дядя Шура вышел на цыпочках, изловил kota, поднес

к уполовнику. Кот посмотрел в окно притворно скучающим взглядом. На мыша не оборотился, но точно размахнулся лапой, сгреб, не глядя, и положил в пасть. Знай наших. Нечего тут разгуливать. Кончилось ваше время.

Мыши ушли, не сказав ни слова укоризны. Рыська сел на хозяйское довольствие. Пока голоден, ходит на задних лапах под рукой, держащей кусок докторской колбасы. Наестся – не замурычет, не приласкается. Знать не хочет, знать не хочет. Стервец, да и только.

Козырек над подъездом был закидан заплесневелыми корками, благо хлеб грошовый. Там ворковали грязные голуби, промеж них сновали драные воробьи. Рыська падал на них из окна коршуном. Заглатывал воробья и с перьями, забивался за диван, переваривал весь день, только глаза в углу горели. Голубей за-таскивал в комнату и пушил, а дядя Шура ворча убирал.

А потом был суп с котом. С Рыськиной подачи повадился на козырек матерый семилетний кот, дядя Шура и хозяев знал. Не совсем рядом жили, как только этот аспидский кот туда попадал. Столкнулись вдвоем на козырьке нос к носу. Сцепились пастями так, что насквозь прокусили друг другу нёбо. Пришлось расцеплять вместе с теми хозяевами.

В другой раз старый кот поставил на своем. Молокосос от него летел по параболе с козырька во двор. Дядя Шура дома был, на бюллетене сидел. Опрометью за котом, да не тут-то было. На глазах у него Рыська метнулся под дом, где проходят теплые трубы и где ихняя кошачья тусовка, как сказали бы позднее.

С трудом согнув радикулитную спину, дядя Шура заглянул в квадратное отверстие. Там светилось глаз видимо-невидимо. Звал по имени – нейдет. Ушел ни с чем. Только пуще спина разболелась.

День за днем – нет кота. Дядя Шура бюллетень давно закрыл, ходит на завод, хотя больше простаивает, чем работает. Один, глядишь, на работу не вышел, другой с утра пораньше напился. Даром, что водка с одиннадцати. Все из-за кого-нибудь да стоим.

По дороге домой дядя Шура глядит своего Рыську. Один у него свет в окошке. В окошке он его и увидел – в чужом. Сидит умывается.

Дядя Шура кой-как сообразил расположение квартиры. Позвонил. Открыла женщина с химической завивкой на отросших волосах и спрятанным вовнутрь мученическим взглядом. Из-за ее спины выглянул нерослый мальчик лет десяти, чем-то неуловимо похожий на него, дядю Шуру, а скорее просто на всех людей.

Позади, в светлом проеме окна Рыська поворотил к прежнему хозяину надраенную рожицу и спокойно ждал, чем дело кончится. Женщина с трудом извлекла глаза из скорбных глубин, в них отразилось беспокойство, с какой это целью так разглядывают ее жилище. Она поскорей спросила: «Вам кого?» – «Мне, это, кота», – промямлил дядя Шура. – «Нажрутса», – прошептала женщина, захлопывая дверь.

Дядя Шура долго стоял на площадке. Достоялся, что послышалась ученическая игра на баяне. Видно, мальчик, сбиваясь и начиная заново, играл «На сопках Маньчжурии». Еще погодя сверху шла женщина, спросила: «Вам Свету?» – «Не», – испугался дядя Шура, и скорее вниз. Больше он в этот подъезд не заходил и мимо окон шел отворотясь.

Тогда, как пришел от них, достал с антресоли гармонь и сыграл «На сопках Маньчжурии» – довольно прилично. Завел теперь такую манеру – как маненько выпьет, так сразу и на сопки. А котом пусть себе утешаются. Поглядел-поглядел в опустевший угол и поехал туда, где всякой твари по паре, на Птичий рынок близ Андроникова монастыря.

На Птичке было самое оно. Голубятники держали в кулаке за хвост худощавых почтовых. Дети глядели лихорадочными глазами на морских свинок с крупными пятнами, белых мышей и хомячков.

Мальчишки с беспородными щенками за пазухой переминались с ноги на ногу, плетя таким же мальчишкам, какие это у них волкодавы. Потенциальные покупатели гладили щенков по шелковым лбам, заглядывали в мутные глазки.

Вот старушки поставили наземь облупленные хозяйственные сумки. В них плотно натыканы газетные кульки с котятами, ровно как с семечками. Дядя Шура никогда не умел выбирать – что жену, что жизненную участь. Судьба сама с ним разбиралась.

Один котенок не то выпал, не то выполз из сумки. Подкатился дяде Шуру под ноги – тот едва не наступил. Испугался, подобрал – поглядеть не на что. Спрашивает, чей, а старушки отвернулись и глазают на дрожащего дога, неизвестно кем привязанного к массивной чугунной ограде и брошенного.

Дядя Шура вздохнул о доге, сунул богоданного котенка в карман и зашагал прочь. Так и привез кота в мешке. Это был его третий котофей, Рыська-внучок.

Ну, рос, пищал, сосал из бутылочки, открыл глаза, вылез из картонной коробки, пошел ходить, задравши хвостик тоньше карандаша. Привязался не как все коты – к дому, а как собака – к хозяину. Необычайно нежная природа дяди Шуры была тому причиной.

Еще малыш Рыська спал в старой дядишуриной шапчонке, умещался, а дядя Шура достал с антресолей давно заброшенное снаряжение для зимней рыбалки. Ящик, сделанный из холодильного агрегата, с дерматиновой подушкой на поролоне, ради которой режут сиденья в электричках. Коловорот, и пешню тоже. Валенки, тулуп. Дело на безделье не меняют – надо продовольствовать кота.

...Пришла долгожданная зима. Котенок был уж котик преизрядный, как сказал бы дядя Шура, почти он басню Крылова. Дядя Шура уезжал по выходным затемно, рассвет встречал на Икшинском водохранилище.

Холодное декабрьское солнце покажется у самого льда, а он сидит, постукивает калосей о калошу. Перекликается хриплым голосам с такими же хрипунами – клюет, не клюет. Три у рабочего человека радости: баня, рыбалка, ну и само собой выпивка. Доходит черед и до нее. Сдвигают три ящика. Уж друг друга знают, бутылку берут по очереди. Здесь

прогулов, бюллетеней не бывает. Домой так втроем и едут, только-только день погас.

Едва ступив на свой порог, дядя Шура вынимает из ящика улов в полиэтиленовом пакете. Кот встречает с музыкой. Ходит ходуном, волчком вертится, орет благим матом. Дядя Шура скармливает ему по одной рыбешке, еще что-то убирает в морозилку, выдаст завтра.

Сам поздно пообедал, посуду вымыл. За окном темно. Сидит, смотрит телевизор. Кот распушился, как рысья шапка на богатом человеке. Пахнет рыбой, мурлычет, весь вибрирует. Дядя Шура чувствует себя добытчиком в своей маленькой семье. Чешет кота за ухом. Так хорошо – помирать не надо.

Это ладно. Дожили до весны. Стал дядя Шура брать кота с собой на рыбалку. Пусть с молодых когтей привыкает. Посадит за пазуху – и поехал кот задом наперед. Март. Молодой месяц на светлом небе умывается утренним облачком, будто котик лапкой. А дядя Шура топает на платформу Окружную. Благополучно доставил кота к месту рыбалки. Вылезай, Рысь Котофеич.

Уж солнце в небе, это тебе не декабрь месяц. Но еще не отпустило. Изменившая цвет ива, легшая на воду, вся в сосульках. Вчерашнее неширокое разводье у берега затянуто хрупкой прозрачной пленкой. Мужики местные давно сидят, загоревшись полиэтиленом. Уж и поймали кой-чего.

У стариков усы обмерзли, чисто моржи. Матерый неровный лед, скрывающий обманчивую темную глубину, порос матовыми иголками инея.

Котофей ходит от лунки к лунке, лапки чуть не примерзают. Остаются на шершавой ледяной корке наивные следы от теплых подушечек на подошвах. Собирает, умильная морда, с каждого рыбака дань. Самую маленькую рыбешку – отдай, не грехи. Те не жмутся, отдают с милой душой. Такого кота еще поискать, чтоб у хозяина за пазухой в этакую даль на рыбалку ездил. Это за редкость надо почесть. Всем на радость и удивленье.

Весенний воздух дрожит над водохранилищем. Иной раз гулко треснет лед возле какой-нибудь лунки, и чутко отзовется звук от дальнего, уже розовеющего леса. Далеко пойдет трещина, дрогнет, ухнет весь лед, будто ниже осядет. Но дяде Шуру не страшно, ему даже весело – ой, гляди, пропадем ни за грош, Рысь Котофеич. Кот помалкивает, а сам думает: ну и пусть, лишь бы вместе.

К вечеру долгого дня едут в полупустой электричке. Контролеры угомонились, умаялись ловить дикую орду рыбаков. Рысь Котофеич занимает целое неободранное сиденье напротив дяди Шуры, а тот вдвоем с молчаливым изыбшим стариком – драное, по ходу поезда.

Дядя Шура поставил ящик к окну, чтоб не дуло в бок. Коловорот крепко держит промеж коленок, задремывает. Котофей в окно поглядывает, не просхаты бы. Во сне дяде Шуру ангелы на весенних облачках играют вальс «На сопках Маньчжурии». Проснется – не вспомнит, каковы они ангелы на вид. Махнет рукой – выходим, котофеюшка. Ты что ж меня не толкнул.

Сидят дома в тепле, сумерничают. Кот там на льду рыбы наелся, пузо во какое. Дядя Шура, наоборот, в рот хмельного не брал. Все за котом присматривал, долго ли до греха. Только мартовского солнышка хватил. Зато теперь отыграется, нальет себе под щи. А тебе, котофей, не положено.

Согреется дядя Шура и тихонечко мурлычет вместе с котом – где мои семнадцать лет, где моя тужурочка. Голосок у него у него тенорочек, живет в тонкой шее с кадыком. Тужурочка – маньчжурочка, про сопки-то забыл.

Долго они этак жили – поживали. Чуть всю рыбу из Икшинского водохранилища не выловили. Завод дядишурина в Коптеве. Работать толком не работал, а дымить дымил, копил потихоньку.

Вышел случай, поехал дядя Шура под Кимры к брату на племянникову свадьбу. Давно он там, в родных краях, не появлялся. Время было летнее. Свадьба дело веселое, а вышло боком – ката хоронили. Затрепал коршун Рысю.

Выходит, прокатился кот с хозяином в последний раз. Вернулся дядя Шура один. А горевать было некогда. В Москве пошел дым коромыслом. Первое дело – все церкви открыли. Чудно. Звонят – будто что вспоминаешь. Вспоминать-то нечего, дядя Шура с тридцатого года. Зашел, постоял, поднявши глаза – строго тут. Оставил поминовенье за упокой души родителей, как сестра научила. Перед иконой Фрола и Лавра вздохнул о коте, хотел было свечку поставить, да вовремя спохватился. Язычник, право слово язычник. Устыдился своей темноты и вышел вон.

С водкой прямо беда. Дают талон, а в магазин придешь – отдел закрыт, и никто ничего не знает. Только завезут – смертоубийство. Раньше в очереди все друг к другу приветливы были. Верно это дядя Шура говорит. Объединенные общим пороком чувствовали себя вдвойне родными. Бывало, женщин за водкой вперед пропускали. Это самые верные подружки, пониманье в семье.

Теперь – талоны врозь. А вот ребенка не об пол, на ребенка теперь большие деньги платют. Ну-ну, так уж и большие. Правда, рожай не хочу.

Что-то дядя Шура не по делу выступает. На него не похоже. Видно, он без котофея стал пить и здорово ожесточился, если не на деле, так на словах. Ну что, взял бы другого кота. Этого добра везде хоть отбавляй. Нет, как у Достоевского Илюшечкин отец возопил – не хочу другого мальчика. Так и полуграмотный дядя Шура.

Завод дядишуруин приказал долго жить. Мужики – кто во что горазд: решетки на окна вставлять, холодильники на дому заправлять. Дядя Шура ничего не придумал – такой у него лобик узенький. И нос как у куличка, с горя обтянулся – краше в гроб кладут. Только глаза из-под жидких бровей смотрят по-прежнему. Голубые, голубиные. Похожи на летнее неяркое небушко, что глядит не наглядится на деревенские крыши да на речной песочек.

Поиграл дядя Шура про сопки Маньчжурии в подземном переходе, в темноте, своими умными руками. Не, не подают, самим не хватает.

Пришлось с алкашами возле магазина дожидать условного часа, когда крутые кликнут палатки сымать и ящики с фруктами на прицепы грузить. При шапошном разборе зарабатываешь и на выпивку, и на завтрашнюю еду.

Только пьют тут по-черному, того гляди пропадешь. Магазинные коты перевелись. Хозяин смотрит в оба. Каждое помятое корытце сметаны в особое место складывают, для учета. Князю прибыль, белке честь. Но дядя Шура и про белку не чёл. А что до мышей – так их теперь химией травят.

Тут сестра Тамара спохватилась. Видит – младший брат погибает. Чудом обменяла ихние две комнаты, лихоборскую и лианозовскую, на какой-никакой дом по Савеловской дороге. Перевезла барахлишко брата и, дело сделавши, померла, Царствие ей небесное.

С тех пор как отрезало. Стал дядя Шура сельский житель, забот много, баловства мало. Жилье его здорово в стороне от электрички. Небось, не пригород. Ты дров не рубил, печки не топил, воды не носил – за это тебе ничего не будет. Так с детьми играют, загигая им пальчики. Дяде Шуре вот не пришлось.

Осенний туман лежит серым пуховым платком на крупно распиленных буреломных бревнах. Дядя Шура еще с лета заготовил их в лесу. Возил на самодельной четырехколесной тележке. Теперь подле избы пилит помельче, колет и горюдит замысловатую поленницу – острожек, в который можно войти.

Вот и неотвязный кот выглядывает из-за угла, будь он трижды неладен. Старый, больной животом. Дерзкий, настырный, с пристальным взглядом – не располагающий к себе кот. Ишь повадился, и все норовит в тепло. Его кормит и жалеет, когда тут живет, страшная на вид соседка Валя, от мутного взгляда которой дяде Шуре становится не по себе.

К коту дядя Шура холоден. У него уж перегорела в душе эта котомания. Скуп он стал невероятно, от старости, а скорее из страха перед будущим. Пережитые трудные годы сообщили характеру дяди Шуры не свойственную ему ранее жесткость.

Все же однажды кот его тронул, когда по отъезде Вали все сидел в досках и ждал, ждал. Сердце дяди Шуры дрогнуло. Он с кровью оторвал от себя кусок теперешней дорогой колбасы и снова, как в прежние годы, скормил коту. При этом подумал примерно так:

*Не знаю, была ли в те годы
Душа непорочна моя,
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.
Теперь же мне стали понятны
Обман, и коварство, и зло,
И многие светлые мысли
Одну за другой унесло.*

То есть он, конечно, таких строк в глаза не видал. Однако могу вам смело поручиться, что чувствовал он в точности так. В этом весь фокус.

Мы все одинакие – и все одинокие.

Александр Селицкий

Шлеп, Мурка и миска с молоком

Мне навстречу идет пожилая, грустная собака. На меня – ноль внимания. А если бы я был вор? Но собака видит, что на вора я непохож. Зато сам хожу в школу! Хотя, лучше бы туда не ходить. Сегодня меня опять били. Что я им сделал? Думал, что в классе у меня будут товарищи. Но я подхожу, а они уходят или лезут драться. Сегодня только два раза ударили. Не так, как в тот раз, когда папа ходил к директору. А директор сказал, что я сам виноват и не умею найти общий язык с одноклассниками. А как я его найду, если мне говорят только: «русская свинья» или «вонючий русский»? Я теперь даже маме не расскажу: она слушает и плачет. И кричит на папу: «Ну, сделай же что-нибудь!»

Папа молчит. Закрывает глаза и скрипит зубами. Что он может? Жаль, что школа так близко: вышел из ворот и опять заходишь в ворота. Хотя папа говорит, что даже в короткой дороге всякое может случиться. Но очень уж короткая дорога. Сегодня она больше похожа на речку или на большой ручей. Или на много ручьев сразу. Сейчас опять будет дождь и ручьев станет еще больше, но я не боюсь. Я остановился и рассматриваю новую царапину на стенке дома. Совсем новая царапина. Вчера было гладкое место, а сегодня царапина! Идет маляр, но не к царапине идет, а мимо. Маляр в комбинезоне, заляпанном красками: синей, зеленой, красной. Нет, это не красная краска, это коричневая.

Вначале я вижу маляра спереди, там он больше зеленый и коричневый. Потом смотрю вслед. Сзади маляр синий и белый. Я бы от мамы за такой вид получил! А он взрослый, ему можно. Взрослым хорошо, им все можно! Я маляров уже видел, но все-таки интересно. Хоть он и не работает, а просто идет по улице. Несет лестницу, ведро и в ведре толстую кисть. Еще маляр несет прыскалку, из которой прыскают краской. Прыскалка висит на веревке через плечо. Ну вот и дождь пошел.

По мостовой едет грузовик. У грузовика большой кузов с решетками вместо бортов и в кузове две лошади. Я уже мокрый, но с места не двигаюсь. Когда-то увидишь лошадей, да еще на грузовике!

До Израиля мы жили в Киеве, как раз напротив Голосеевского леса. Однажды к нашим соседям приехал дядька на двухколесной тележке. В тележку была запряжена лошадь. Сбежались все мальчишки и даже некоторые девочки. И Толя прибежал, и Вова, и Маринка. Даже Костя пришел, хотя был уже совсем взрослый. Он потом убился. Выпрыгнул из окна и убился. И соседи говорили, что, как будто, совсем он не выпрыгнул, а его выбросили. Как будто, там играли в карты и другие, те, кого он обыграл, его выбросили. Сказали, что он жид и потому мошенник. Говорили, что мошенник он был в самом деле. Называется шулер. Так про него говорили. Мама говорит, чтобы в карты я никогда не играл. Ни на что. А я и не умею. А тогда тем более не умел: мы были еще маленькие и в детский сад нас водила чья-нибудь мама, всех вместе. Детский сад в Киеве тоже был рядом с домом, но туда нас одних не пускали. А потом папа и мама сказали, что мы евреи и потому должны жить в Израиле. И мы приехали сюда. Я за это время подрос и теперь в школу могу ходить один. Школа – не то, что садик.

Так вот, когда приехал тот дядька, мы принесли хлеб и кормили лошадь. Она губами брала хлеб с ладошки. Губы у нее теплые и мягкие-мягкие. Потом папа сказал, что лошади любят сахар, но тогда я не знал. И Толя не знал, и Вовка. И

Маринка, тем более. Хорошая была лошадь. Я ее сразу вспомнил, как только лошадей увидел на грузовике. Я часто наш дом вспоминаю. И Толю, и Вовку, и Маринку. И вечером о них думаю, перед тем, как заснуть. Ну и что с того, что мы евреи? Жили бы в Киеве.

Мне уже надо спешить, но тут случается самое интересное: кошка. Перед входом в наш дом. Не лошадь, конечно. Кошек на улице сколько угодно. Но лошадь едет на грузовике и ее не погладишь, а кошка здесь рядом, возле стенки. На стенке висит жестяной козырек и дождь под него не попадает, разве что мелкие капельки. Кошка сидит там и мяукает. Это в сказке кот ученый целую речь заводит, а на самом деле только и знает: «мяу» да «мяу».

Я ей «кис-кис!» А она снова «мяу-мяу», но уже не просто так, а мне. Наверное, можно кошку чему-нибудь научить, ну, не разговаривать, конечно, так хоть чему-нибудь? А? Хотя бы попробовать! А то сидит под козырьком и смотрит. И мяукает. И все. И хвост поджала. Дождя боится.

А я не боюсь, я все равно мокрый насквозь. Опять говорю: «кис-кис». И она опять: «мяу-мяу». Вытащил ее и прячу под куртку так, чтобы нос торчал наружу. Чтобы не задохнулась. Иду домой, но перед самой дверью остановился: лучше, если мама не сразу увидит. Не то – устроит... Как тогда, за собаку. А разве это собака? Щенок! Еще когда собакой станет. Но уж тогда мы с ним никого бояться не будем! Все-таки, щенка я отстоял. Не отстоял – отплакал. А тут еще кошка. Кошка – это не защитник. Хоть и взрослая. Не защитник, но ее жалко. Мокро ведь кругом! Посажу в ранец поверх учебников. Тихо, глупая, мама услышит! Так. Можно звонить в дверь.

Мама спрашивает: «Где ты успел так промокнуть? От школы здесь два шага». Верно, два. Но папа же сказал: «В дороге все может случиться». Зачем повторять? – «Немедленно переоденься», – требует мама и ранец отвечает «мяу». И еще я слышу царапанье. Мама оглядывается, но я стою и на лице ну никакого выражения!

– Перестань баловаться и немедленно переоденься, – повторяет мама. Она думает, что это я мяукаю. – Или я с тобой иначе поговорю! – и мама выходит из комнаты.

Снимаю ранец, иду за ней. Кошка снова мяукает, но теперь мама не слышит. Захожу к себе в комнату, переодеваюсь. В углу щенок лакает молоко. Щенок похож на рыжий кубик. Даже на два кубика: один кубик у нее голова и один туловище. Хвост и лапки не считаются, они совсем тоненькие.

Лакает он серьезно, не отвлекаясь. Меня будто и не видит: выбросил в миску язычок широкий, как лопатка, набрал немножко молока, плеснул: в пасть. Шлеп! Слизнул капли с носа. И опять: «Шлеп! Шлеп!» Это папа придумал, так его назвать: Шлеп. Мама и Шлепа-то не любит, а еще кошка! Оглянувшись, открываю ранец.

– Я тебе подружку принес.

Без друзей плохо, я знаю. Я теперь много чего знаю. Ставлю ранец на пол, вынимаю кошку и подталкиваю к миске. Она тянется к миске, но не подходит, опасаясь Шлепа. Глупая. Он же добрый! Подталкиваю. Кошка делает глоток и снова отскакивает. Смотрит. Идет к миске, но не просто идет – подкрадывается. Со Шлепа глаз не спускает. Первые глотки делает робко, потом смелеет. А потом и вовсе отесняет щенка. Выпила молоко, пошла по комнате и даже не оглядывается. Шлеп за ней. Молока ему не жалко, он сыт. Он поиграть хочет. Стукнуть ее, чтоб не задавалась! Но слышу мамин голос:

– Иди есть!

Большую комнату хозяин квартиры называет салоном, папа столовой, мама гостиной, а я просто большой комнатой. Здесь обеденный стол, холодильник и газовая плита, отгороженная занавеской. За занавеской, как будто, кухня, хотя на самом деле никакой кухни в квартире нет. И прихожей нет. Прямо с улицы можешь садиться к столу и есть. В Киеве у нас все было, хоть и маленькое. Кухня маленькая и прихожая, тоже маленькая. И две комнаты. А здесь три. Большая просто комната, моя комната и еще спальня, то есть комната

папы и мамы. Папа учит, что надо говорить «мамы и папы», потому что настоящие мужчины всегда пропускают женщину вперед.

В «просто комнате» я должен поесть и вымыть тарелку. И мама, и папа говорят, что это трудовое воспитание. Раньше мама работала, ей было некогда меня воспитывать и тарелку она мыла сама. После работы. Потом их фабрику закрыли и мама «занялась, наконец, ребенком». Скорее бы нашла другую фабрику! Она ходит куда-то отмечаться и приходит обратно сердитая. И снова начинает меня воспитывать. Или плачет в спальне.

Я вымыл тарелку и теперь строю самолет. Из планок сколачиваю фюзеляж с крыльями, прибиваю хвост. Поднимаю самолет вверх и бегу по квартире «взз-з-звв-вззвв!» Немножко стыдно: уже школьник, а играю, как маленький. А что делать? Пусть только собака вырастет. Собака никогда не позволит обидеть хозяина. Сосед тоже меня обозвал «вонючим русским», хотя мама говорит, что никакой я не вонючий и даже очень хорошо пахну. И не русский тоже – врут они все. А сосед еще не произошел от обезьяны. Когда другие происходили, он остался на месте. Потому нас и ненавидит. Ну и пусть. Я вырасту и еще им покажу! Зато собака, это настоящий друг. С ней даже можно разговаривать. Она понимает. Но это когда взрослая собака, а Шлеп еще маленький. Но я подожду.

В окно вижу папу. Он тоже здесь не такой, как в Киеве: там носил длинное, красивое пальто, а здесь ему в пальто жарко. Здесь он в джинсах и футболке, будто и не папа, а тоже мальчик, но большой. Мне нравится. Вместо чемоданчика «дипломат» у него в руках железный ящик с инструментами: гаечные ключи, отвертки, еще что-то.

Я хотел осмотреть получше, тяжелый молоток упал мне на ногу. И разбил палец, но я почти не плакал. Хотя мама испугалась и стала на папу кричать, чтобы он прятал свои «чертовы железяки». Папа сказал, что нет ничего страшного: просто я должен подождать пока вырасту, а до того работать молоточком из детского набора.

Я и работаю. Самолет строю. А палец давно зажил. Папа сейчас войдет, оставит ящик возле двери, примет душ и переоденется в тапочки, мягкие брюки и куртку со шнурами поперек груди. И это уже будет совсем, как в Киеве. Он достанет из шкафа свой дипломат, вынет из него бумаги, разложит их на столе и, включив лампу на гнутой ножке, которая называется «подхалим», будет сидеть над ними до поздней ночи.

Еще у него есть картонная труба с крышкой – тубус. В тубусе чертежи. Иногда, сидя над ними, папа тихонько поет. Поет он две песни: «Торреадор, смелее в бой!» и «Зачем тебя я, милый мой, узнала?» Сначала он часто пел «Торреадора», а теперь все «Зачем», да «Зачем»... Или швыряет бумаги в сторону и сидит, и даже на них не смотрит. А иногда, как вцепится – не оторвешь. Я ему: «папа, папа!» А он отмахивается: «потом...».

Возле дома ссорятся тетя Софа и тетя Лиля. Они всегда стоят на улице и всегда ссорятся, но папа этого как будто и не видит. Он им улыбается. Они затихают и улыбаются тоже. «Здравствуйте, Софа, – говорит папа – здравствуйте, Лиля!» Соседки отвечают вежливо, но, стоит папе пройти, ссорятся опять. Папа говорит, что, когда ссорятся женщины, мужчина вмешиваться не должен – пусть сами разберутся в своих делах. Они и разбираются, а он уже в парадном. Лестница у нас маленькая, всего четыре ступеньки. Звонить в дверь папе не нужно: у него есть ключ. А мне ключа не дают. Боятся, что потеряю. Мне папа тоже улыбается, хоть я ни с кем не ссорюсь.

– Летаешь?

– Летаю, – все-таки немножко стыдно детской своей игры. – Вырасту и полечу на настоящем, – все-таки говорю я. А сам думаю, что обязательно на военном. Это будет штурмовик. И на нем уж я покажу всем, кто теперь меня обижает. И соседу, и моим одноклассникам. И мне становится не так стыдно, хотя все-таки... – Или стану знаменитым футболистом, – добавляю я еще. – Вот. Теперь в самый раз.

– Обязательно. – говорит папа. – Только почему «или»? И полетишь, и в футбол будешь играть.

Тут в мою комнату входит мама и сразу видит всех: папу, Шлепа, меня и кошку. Видит всех, но, кажется, что только кошку. Мне так кажется. И кажется, маме тоже так кажется. Она вдруг начинает говорить очень медленно и это зловещий признак.

– Эт-то что та-ако-ое? – говорит мама.

– Это Мурка, – говорю я тихо.

– Откуда взялось имя? – мама повышает голос. – Она сама тебе сказала? И что она здесь делает? – мама говорит все медленнее и все громче. – Я спрашиваю, откуда тварь хвостатая взялась? У нас дом или зоопарк?!

– Она кошка, – продолжаю я так же тихо. А мама начинает кричать.

– Хорошо, что не лошадь! – кричит мама. – Если бы ты лошадь встретил? Тоже домой привел бы?!

– Я встретил, – говорю. – Только я не мог привести. Они ехали на грузовике. Даже две лошади. Но они ехали. На грузовике...

Мама на меня больше не смотрит и кричит на папу. «Она или я! – кричит мама, – она или я! Или ее выбросят, или я уйду из дома! Она или я!» – мама хватается Мурку и тащит к двери. Я тоже ее хватаю, стараясь удержать и тоже кричу, и даже, на всякий случай, плачу, и тут орать начинает Мурка, потому что мы с мамой тащим ее в разные стороны и, похоже, сейчас разорвем напополам. Папа обнимает нас всех вместе но, главное, конечно, маму.

– Конечно ты, – говорит он маме, высвобождая, между тем, нас с Муркой, – ну конечно же ты, как можно такое даже подумать! – он теперь обнимает уже только маму, гладит ее и целует в щеку. – Конечно ты, но только, пожалуйста, успокойся, – он гладит маму по голове и она в самом деле успокаивается. Но вдруг у нее пропадает голос. Она ничего не может сказать. Открывает рот и молчит. И дышит.

– Ничего особенного, – говорит папа, – кошка здесь не надолго. У кошек независимый характер, кошки не живут в чужих домах. Она скоро уйдет.

– Чем скорее, тем лучше, – голос у мамы опять появляется. – Не то я ее выброшу. А заодно и вашу противную собаку. Или забирайте их с собой. На работу, в школу – куда хотите.

Я бы рад! Но даже думать нечего, привести зверей в школу. А Шлеп еще совсем маленький и не понимает кого надо бояться. Взрослые собаки это всегда понимают, а он даже ластился к маме. И она его прогнала. Бедный! Но ничего. Зато я у него есть.

Перед сном я долго ворочаюсь. Даже не вспоминаю Киев: не до того. Как сделать, чтоб мама не выбросила Мурку? И чтоб кошка сама не ушла. Вдруг папа прав и кошки в чужих домах не живут? А лошадь в самом деле замечательный зверь, с этой мыслью я засыпаю.

И сплю крепко, и, как всегда, не слышу звона будильника. Звонит он тихо-тихо – кроме папы его не слышит никто. Папа сразу нажимает кнопку и будильник замолкает. Папа тихо встает и на цыпочках идет будить меня. Он собирается на работу, я в школу, а мама еще спит.

Папа бегает от плиты к столу и к шкафу, готовит завтрак и собирает меня в школу. Одет он пока в ту же домашнюю куртку, поверх которой мамин фартук с кружевами. Когда мама работала, она уходила раньше нас, а теперь она не работает, но и не встает по утрам. И у папы тоже трудовое воспитание.

– Па-а... А для мужчин фартуки бывают?

Папа молчит.

Я наливаю в миску побольше молока, для двоих. Но не тут-то было: ест только Мурка. Глотнет и оглядывается на Шлепа. Еще глотнула и еще посмотрела. И злобно шипит. У Шлепа слюнки капаят. В самом деле капаят, «кап-кап». И лужица на полу. Я добавляю молока, но Мурка Шлепа к миске не подпускает. Хочу ее треснуть, но вдруг замечаю часы. В школу уже опаздываю. Узнает мама и точно выгонит моих зверей. Хватаю учебники и бегу.

В школе ни с кем не заговариваю. Не хотят и не надо! Есть у меня Шлеп и Мурка, настоящие друзья. Хотя Мурка еще

не совсем друг, но, может быть, станет другом. Из школы я тоже бегу и улицу не рассматриваю. Некогда.

Кошка лежит в моей комнате, на самой середине. Потягивается и сыто урчит. Я зову «Шлеп, Шлеп!» Не отзывается. Ищу. Плачу: наверное, мама его выгнала. Попался под руку и она выгнала.

Входит мама. «Никого я не выгоняла, – говорит мама, – перестань, пожалуйста, реветь. Не маленький!» Мы ищем вместе. Под моей кроватью раздается визг, еле слышный. Мама нагнулась и заглянула туда. «Вон твой дурачок сидит, – говорит она, – под самой стенкой. Нашел место! Ну, я-то знаю, почему он там сидит. Я этой дрянной Мурке задам! Но, конечно, не сейчас. Пусть мама думает, что у нас все в порядке.

А пока Шлеп сидит у стенки и плачет. Честное слово, плачет! Это неправда, будто собаки плакать не умеют. Собаки все умеют. Костя, который выпал из окна, рассказывал, как заплакал щенок, потому что ему в первый раз надели ошейник и он обиделся. Даже слезы катились из глаз, да. А теперь плакал Шлеп. Ну, этого я не допущу!

Зову, но Шлеп не выходит. Лезу под кровать и тащу его за шкуру, но, как только пес появляется на открытой территории, эта дрянь прыгает и лапой бьет его по мордочке. У меня на руках! Она попадает по носу в самое болезненное место и Шлеп сразу бросается обратно под кровать. Я хватаю самолет и замахваюсь им, но Мурка даже не думает пугаться. Выгибает спину, топорщит усы, шипит. На меня шипит! Я замираю от возмущения.

Тут входит мама и я, не выпуская из рук самолета, начинаю «летать». «Вз-з, вз-з, вз-з...» Бегу по комнате. Ничего не случилось... Просто я играю с кошкой и с собакой. Их выгонять не надо и меня ругать тоже не за что. Ну хочется человеку полетать в приятной компании!

– Ты совсем распустился, – говорит мама. – Вам что, уроков не задают? И когда, наконец, уйдет кошка? Она не знает мнения твоего папы о кошачьем характере и спокойно живет в чужом доме. Или уже считает его своим? Я ре-

шительно против! Выбирай: ты ее выбросишь или я этим займусь.

Ничего себе, выбор! Но тут мне повезло: раздался звонок в дверь. Пришла тетя Габи, мамина знакомая. Они вместе работали на фабрике и теперь вместе ходят отмечаться. Они разговаривали, потом кричали, потом опять разговаривали, потом пили чай. Про кошку мама забыла. А Шлепа я потихоньку накормил.

Но следующим утром он уже сидел возле двери и лишь оттуда смотрел, как Мурка лакает молоко. Лапками перебирал, но с места двинуться боялся и жалобно скулил. Наверное, кошку в самом деле придется выгнать, раз у нее характер такой скверный. Ну и ладно, нам и вдвоем хорошо, мне и Шлепу. Я его в обиду не дам! А она пускай прячется от дождя под козырьком, раз не умеет жить в доме.

Шлеп тянется к миске, но страх сильнее голода. Наконец робко, почти на брюхе он приближается к двери в мою комнату, но – р-раз! – получает по носу. Громко взвизгивает и бухается назад, но Мурке уже этого мало: кошка догоняет его, бьет еще и еще, гонит на улицу.

Дверь закрыта, бежать ему некуда и он, от испуга почти потеряв сознание, впервые в жизни орет: «Гав!» Из всех щепчых сил: Гав! Гав-гав! Гав-гав-гав-гав-гав!

Кошка на секунду замирает и вдруг шарается по ковру назад. Молнией взлетает на шкаф и по шкафу не бежит – летит в дальний угол. Шлеп лает громко, залиvisto и прыгает вверх, но достать Мурку не может. Не умеют собаки лазить по стенкам, а жаль. Надо бы проучить Мурку. «Гав! Гав-гав-гав-гав-гав! Гав!» Ну, ничего. Она и так запомнит.

Я доволен и папа тоже. Улыбается, рад, что Шлеп сумел за себя постоять. Но вдруг улыбаться перестает, снимает мамин фартук и уходит в спальню. Идет быстро, твердыми шагами, будто маму разбудить совсем не боится. Зато я боюсь. Я сижу и боюсь. И смотрю на стеклянную дверь, боюсь и вижу, что в спальне включилась настольная лампа, но сразу погасла. И снова включается. И снова гаснет. Светит. Погасла. Све-

тит. Погасла. Светит. Погасла. Светит. Бом! – звон стекла. Темно.

И тут вспыхивает люстра! И открывается дверь. И мама в халате идет на кухню, взяв по дороге свой фартук. Говорят – «глаза на лоб вылазят». Я это сам почувствовал. Как они вылезли и назад залезли. За мамой из спальни вышел папа и стал собираться на работу. Не спеша. И выходя, поцеловал маму в щеку.

– До свидания, дорогая, – сказал папа и улыбнулся.

– До свидания, – сказала мама, но не улыбнулась. И папу не поцеловала. Но все равно у него был гордый вид. И взяв свой ящик с инструментом, он запел Торреадора. – «Тарарарара-ра-ра-ра-ра-ра!» Без слов. Но слова я знаю: «Торреадор, смеле-е-ее!» Папа мне слегка подмигнул: «В бой!» Я понял, что надо бежать в школу. Быстро. Иначе сейчас останется мне. И за папу тоже. А Мурка остается на шкафу. Ничего, посидит. Заслужила.

Там я ее и застал, вернувшись. Налил молока в чашку, дал Шлепу. На кошку даже не смотрю. Зато она смотрит, не отрываясь. Шлеп ест. Она смотрит. Так ей и надо. Ага, не выдержала. Спрыгнула со шкафа и тихо подбирается к миске. Шлеп только глаз скосил – отодвинулась. Кое-что поняла, значит.

Шлеп ест. Она смелеет: шагнула к миске, глотает. Косится на Шлепа. А он на нее. Но больше не лает. Мурка глотнула и он тоже. Сначала они внимательно следили друг за другом, потом перестали. Едят вместе. Я обрадовался: втроем будет нам интересно и весело. И никакие мы не вонючие, и никто нам не нужен. Только бы мама кошку не выгнала. Сегодня она не угрожала, молча дверь открыла и ушла в спальню. И не выходит. Плачет, наверное.

И тетя Габа не придет, потому что ее вчера мама выгнала. У тети Габи сын бросил школу. Там его тоже называли «вонючий русский». И били. И ему надоело быть битым, и он в ответ ударил кого-то ножом. Что ему было делать? А теперь он сидит в тюрьме, в детском отделении. И тетя Габи, глядя

на меня, сказала: «вот еще кандидат». Наверное «кандидат» это нехорошо, потому что мама устроила настоящий скандал и стала кричать, и выгнала тетю Габи. А сегодня плачет. Жалко, что мама не любит зверей: у нее всегда было бы хорошее настроение. Я же не плачу! Я только тогда плакал, когда молоток упал на ногу. Да и то, немножко. Очень больно было. А так – нет. Не плачу. Просто так я совсем не плачу. Даже когда стало тепло и Мурка все-таки убежала, я не плакал. Что ж, может и правда, что кошки не живут в чужих домах.

Да и зачем нам кошка? Вот лошадь – другое дело. Она бы копытами топтала тех, что меня бьет, а Шлеп их кусал бы. Пусть бы тогда попробовали меня бить! А пока мы снова вдвоем, я и Шлеп. Мой друг и будущий защитник. Ну и мама с папой, конечно. Мама нас теперь всегда провожает по утрам.

И я все думаю про лошадь. Вот это зверь, вот это да!

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Фридрих Хитцер

Маленький кинжал в кожаном чехле

В Москву я впервые приехал из ФРГ в шестидесятом году в качестве университетского стажера. Я был одним из тех, кого называют «дети войны». Двадцать лет назад наши отцы-солдаты пришли в Россию как завоеватели, хотя считали себя освободителями. Они воевали жестоко и беспощадно. Солдаты-защитники отвечали им тем же. Ни те, ни другие не были свободны. Их натравливали друг на друга диктаторы: Гитлер и Сталин. Диктаторы не любят и не жалеют ни своих, ни чужих...

Хотя я был романтиком, увлеченным поэзией, искусством и музыкой, о стране, куда я попал, у меня были превратные, довольно примитивные представления. Бесы старого долго не хотели сдаваться. На моей родине боялись всего советского. Если я и знал Россию, то по книгам классиков и по рассказам эмигрантов, судил о ней по традициям прошлого, до октябрьского переворота семнадцатого года... Благодарен судьбе, что стал свидетелем и участником необыкновенного духовного и душевного подъема, царившего тогда в Москве. Именно там я понял смысл известного выражения: «через тернии – к звездам», к свету.

Концерты слова и музыки, новые театральные постановки, кинофильмы, режиссеры которых принадлежали к разным школам, но мне ближе всего была школа Михаила Ромма, –

все это захватило меня, и не только меня. В глазах моих сверстников и особенно сверстниц, тоже детей войны, я видел огонек надежды. На лучшее будущее, на взаимопонимание вчерашних недругов.

Честно говоря, меня не очень занимали сухие дисциплины, вроде лингвистики и филологии. История и политика тоже мало интересовали. Гораздо увлекательнее было слушать в концертных залах Шостаковича, Рихтера, Ойстраха, Гилельса. Ренессанс коснулся не только искусства, но и литературы. Особенно сильное впечатление произвели на меня вечера поэзии, участники которых казались раскованными и читали со сцены все, что хотели.

Вместе с французской слависткой Симон Лучани меня однажды пригласили в дом писателя Юрия Нагибина, женатого тогда на поэтессе Белле Ахмадулиной. Разговор шел о прозе и поэзии, как вдруг Белла спросила меня: «Любите ли вы Маркса?» Я отшутился, сказав, что больше люблю женщин, чем мужчин. Может быть, поэтому Нагибин увидел во мне «героя свободного мира», о чем написал потом в газете «Известия». Но, конечно, никаким я не был героем, а просто жадно впитывал то лучшее, что меня окружало.

Я стал собирать свежие публикации и рукописи многочисленных поэтов и поэтесс, чтобы составить антологию новой русской поэзии на немецком языке. Много звезд возшло в то время в литературе, но центральной, самой яркой звездой стал для меня поэт-бард Булат Окуджава.

Все его ноты звучали и во мне тоже, темы стихов-песен волновали и меня: скорбь по безвременно ушедшим воинам, ненависть ко всему, что провоцирует насилие, умение понять чужого и его судьбу, нежность в любви к женщине.

Он пел, обращаясь к сердцам людей. Вечное и бытовое на фоне истории, и при этом никакой пропаганды, – вот что привлекало в его творчестве.

Булат и его единомышленники не забывали про ужасы войны и репрессий, стремились к свободе без крови, облагораживали чувства современников.

Его песни заставили и меня, человека, прибывшего, как нередко говорили, из реваншистской Германии, увидеть Москву культуры, а не Лубянки, проникнуться глубокой симпатией к гиганту-мегаполису.

О том периоде моей жизни, о любви к девушке, явившейся, наверно, главной причиной моего досрочного и принудительного возвращения на родину, я рассказал в романе «Прощай, Татьяна». Но это случилось позже.

Девятого января шестьдесят первого года, в день моего рождения, Окуджава пришел с гитарой на вечеринку «немцев-реваншистов». Он пел, а я записывал его песни на магнитофон. Потом, в течение многих лет, мы слушали у себя дома эту запись, и я не уставал повторять, что для полного впечатления надо поэта-барда слышать и видеть, то есть пригласить в ФРГ, что впоследствии удавалось, и не раз...

Мог ли я в тот счастливый день представить себе, что ровно через сорок три года буду хоронить Ирину Войнович, жену Владимира, с которым меня когда-то познакомил Окуджава? Я молча стоял за спиной Володи и их общей с Ириной дочери Ольги и вдруг, не веря ушам своим, услышал голос Булата. Он тоже провожал Иру в дальний путь. Из глаз покатались слезы, я плакал вместе с близкими, с любившими ее коллегами и учениками...

В шестьдесят восьмом году после долгих и настоятельных просьб принимающей стороны Булат Окуджава, критик и литературовед, главный редактор журнала «Иностранная литература» Борис Рюриков, кинорежиссер Марк Донской и поэт Евгений Винокуров приехали в Мюнхен.

Я был счастлив, что литературный клуб Комма-Klub принял мое предложение и что мне доверили организовать прием гостей. Гвоздем программы был просмотр шедевра кинодокументалистики Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Я имел счастье вызвать доверие режиссера и еще раньше, на фестивале в Лейпциге в шестьдесят пятом, взять у него интересное интервью о сходстве и различиях фашизма и сталинизма.

Мы посетили музей бывшего концлагеря Дахау. После этого Донской решил показать свой фильм «Радуга» – по повести Ванды Василевской. Это было катастрофой. Немцы не смогли принять этот суровый фильм, сделанный во время войны. Та война окончилась двадцать три года назад, но холодная война продолжалась...

Уходя из музея Дахау, Булат сказал мне с горечью: «Вот видишь, у вас есть музей, людям напоминают о творившемся здесь насилии, а у нас такого нет...» Он не мог знать, что все это создано ценой упорного труда энтузиастов внутри и во вне Германии. Любая власть не готова к покаянию, даже если дело касается преступлений прошлого...

В семьдесят седьмом Окуджава снова побывал в Мюнхене. Отмечалась очередная годовщина Великой Октябрьской революции, как тогда говорили и писали. Выступление Булата состоялось в Техническом университете. На вечере вдруг появился кинорежиссер Григорий Чухрай, автор знаменитых фильмов «Баллада о солдате» и «Чистое небо», а также художественно-публицистической ленты «Память» – о войне.

После песен тихого барда Чухрай быстро прошагал по сцене и стал с пафосом читать наизусть Маяковского. Тогда еще многие верили в октябрьские мифы, в историческую победу, одержанную под руководством Ульянова-Ленина, дело которого предал Сталин и его окружение.

Конечно, Чухрай имел огромный успех. В Германии мало кто знает, что чтение стихов наизусть – в России дело общепринятое. У нас их обычно читают по книге или рукописи. Булат, как мне помнится, улыбаясь, поблагодарил Чухрая за спонтанную прекрасную декламацию...

На заводе БМВ гостей из Советского Союза познакомили с производством шикарных автомобилей. Генсекам машины дарили, а представителям советской творческой интеллигенции разрешили на них посмотреть, потрогать, понюхать, потом... повели всех в заводскую столовую на обед.

Впрочем, обед был особенный... Я уговорил замечательного поэта-переводчика Льва Гинзбурга почитать во время

рабочего перерыва немецкие оригиналы стихов и его переводы. Потом Булат Окуджава спел несколько песен. Все это в знак признательности за любезное гостеприимство. Случайные слушатели, рабочие, вероятно, очень удивлялись такому поведению приезжих.

К сожалению, микрофона не было. Звучал и брал за сердце камерный голос Булата, но аккомпанемент его гитары не мог заглушить звяканья ложек о тарелки и другие естественные шумы. Один коммунист с гордостью говорил, что вот и осуществилась спайка интеллигенции с рабочим классом.

В следующий раз я увиделся с Булатом в восемьдесят седьмом году в Москве, на Конгрессе *выживания*: очень серьезные проблемы встали перед народом в первые же годы перестройки. А несколько лет спустя – опять в Мюнхене...

Весь мир следил за разворотом событий в стране Советов, где накалялись страсти митингующих, кипели противоположные эмоции. Булат сочувствовал свободе и гласности, и все-таки у меня осталось впечатление, что его утомляет вся эта шумиха. Прямых вопросов я ему не задавал, ибо знал по прошлому опыту: он не терпит, когда в нем видят «певца масс». Ведь его песни и стихи действуют на каждого человека индивидуально. Они предназначены для интимного общения со слушателем.

Непримиримость и враждебность людей, готовность на новое насилие – все, что выплескивалось тогда на площади, было враждебно Булату. Немало крови испортили ему и коллеги с их политическими играми и интригами. В писательской среде нередки были нападки друг на друга в духе конца Веймарской республики.

...Как некоторое утешение вспоминается мне наша последняя встреча в маленькой квартирке в Швабинге, бывшем районе художников, недалеко, кстати, от того места, где в начале XX века Владимир Ульянов впервые подписался именем Ленин.

Булата и его супругу радушно принимала хозяйка, Ольга Жэнфельд, эмигрантка третьей волны. Булат никогда не

скрывал своей симпатии к соотечественникам, вынужденным из-за конфликта с советскими властями, часто после неслыханных гонений, покидать свою родину.

Одним из гонимых, с которым он познакомил меня в то время, и был Владимир Войнович. Это случилось в гостинице Хилтон-ам-Тухерпарк, вблизи от места, где тогда располагалась радиостанция «Свобода». Раньше ему приходилось встречаться с ее сотрудниками как бы подпольно. Теперь он делал это совершенно открыто.

Надо сказать, что левые на Западе шарахались от «Свободы», считали центр вещания на Советский Союз чуть ли не порождением дьявола. Я тоже относился к «Радио либерти» напряженно. Булат, щедро там выступавший, дал нам всем образец толерантности, помог перешагнуть и в этом смысле через порог холодной войны.

Однажды он привез мне в подарок маленький кинжал в чехле из черной кожи. Далеко не все знают, что в Грузии – это символ не войны, а дружбы.

До сих пор драгоценный сувенир висит у меня над письменным столом, а рядом, на деревянной полке, двадцатичетырехтомный словарь новейшего Брокгауза соседствует с четырехтомным Словарем русского языка. Не только у Достоевского, но и у Шиллера есть эти крылатые слова: «Красота спасет мир». Я всегда вспоминаю их, когда слушаю записи Булата.

Разве не прав был Мартин Лютер, говоривший, что пение и музыка приближают к Богу еще вернее, чем слова?..

Тамара Жирмунская

«Ты», которое стремится к «Вы»

...Зимний Мюнхен две тысячи четвертого года прощался с женой Владимира Войновича Ириной Войнович.

Умная, образованная, педагог по призванию, она делила с мужем мед славы, всемирного признания и яд хулы, изгнания с Родины, которую продолжала любить нежно-требовательной любовью невольной эмигрантки. Может быть, от этой «сшибки» нежеланного с неизбежным и заболела, и ушла безвременно...

Ритуальный зал Северного кладбища (Nordfriedhof) вместил сто человек, не меньше. Русских и немцев, коллег и друзей мужа и жены, Володиных поклонников и переводчиков, Ириных учеников.

Под торжественным сводом, в замкнутом колоннадой, будто гигантским циркулем очерченном пространстве, перед панихидой зазвучала музыка. Реквием? Духовные песнопения?

Прежде чем я осознала, что это такое, – все во мне уже благодарно откликнулось на мелодию, слова, голос. Позывные поколения: «Прощание с новогодней елкой» Булата Окуджавы в исполнении автора...

Как-то в дружеском кругу, в начале восьмидесятых, при Булате, зашла речь об этой песне, вернее, об этих стихах, для многих сразу ставших песней. Промежуточный вариант, стихи-не песня, думаю, не был известен даже близким людям; все рождалось одновременно, естественно: слова и мотив.

Знаю, так бывало не со всеми песнями. Но «Ель моя, Ель...» другого варианта просто не предполагает...

В тот раз я спросила, как мог Булат предвидеть судьбу Зои Крахмальниковой, которой посвящена песня. За религиозный самиздатовский сборник «Надежда» Зоя, писательница, жена и мать, была судима и сослана на Алтай, но случилось это много позже, чем поэт сочинил, а потом пропел: *«Но начинают колеса стучать: / Как тяжело расставаться! / Но начинается вновь суета, / Время по-своему судит: / И, как Христа, тебя сняли с креста, / И воскресенья не будет...»*

Очевидно, цензура заставила Булата изменить предпоследнюю строчку, вместо Христа появилось «в суете», однако тысячи слушателей с авторского голоса запомнили, как надо.

Мой вопрос озадачил Булата. Дело в том, начал он объяснять, что это – песня о другой женщине. Как-то пришла в гости Зоя, услышала «Прощание», ей понравилось, и он поставил над стихами посвящение. Оля, жена Булата, подтвердила: так оно и было. «Ты выбрал ей судьбу», – не удержалась я. И пожалела о сказанном.

Булат, и всегда-то грустноватый, помрачнел, но Оля, мастерица разгонять тучи, объявила, что как раз собирается навестить Зою, уже готовится к дороге. И всем стало немного легче. До возвращения из ссылки оставалось еще несколько лет...

Впервые я увидела Булата весной пятьдесят восьмого. Тянулся пятый курс Литинститута, но я не торопила время. Впереди был обрыв. Никаких направлений на работу наш вуз не давал, а на редкие гонорары прожить было невозможно.

Однокурсник Владимир Цыбин, зная мое положение, послал меня в издательство «Молодая гвардия» на предмет получения стихотворных переводов с языка народов СССР, то есть подстрочников, часто составленных полуграмотно, самими авторами, и назвал совершенно неизвестную мне фамилию того, к кому следует обратиться: Окуджава.

Вечером я рассказывала маме: «Там такая большая светлая комната, четыре письменных стола, и за одним, в правом углу

от двери, сидит очень хороший человек, не молодой, не старый, по-моему, грузин, зовут его Булат Шалвович». – «Как, как?» – переспрашивала мама. Но меня уже несло дальше: как тепло он меня встретил, как расспрашивал о стихах, о семье, как обещал давать работу. И вот еще что! Сейчас у него нет свободных подстрочников, но скоро будут, и он позвонит, чтобы я приехала, а так как телефона у нас нет, он обещал позвонить ей, маме, на службу, и будет звонить всякий раз, когда работа для меня появится .

Мама усомнилась, что такое вообще бывает... Тогда я еще не знала, что безработица, безденежье были Булату как сыну «врагов народа» слишком хорошо знакомы, а слово «мама» имело для него очень личное, почти сакральное значение...

Окуджава сдержал свое слово: и откладывал для меня подстрочники, и звонил на мамину службу, и вызывал меня в издательство, и улыбался несколько сконфуженно, доверяя студентке перевести, а точнее перелицевать с языка прозы на стихотворный язык довольно убогие произведения дагестанских, осетинских и прочих поэтов...

К моим ученическим перелицовкам относился снисходительно, почти не делал замечаний, иногда заговорщицки разводил руками: что, мол, с них, национальных гениев, взять, и спешил перевести разговор на настоящую литературу, поэзию. Однажды ненавязчиво предложил встретиться не в издательстве, а где-нибудь еще, почитать друг другу стихи. Но я была поглощена своей молодой жизнью и осталась глуха к его предложению.

Как-то спросил: «Из какой материи ваше платье?» Я ответила: «Из поплина». Годы спустя услышала: *«Я вновь встречался с Надеждой – приятная встреча. / Она проживает всё там же – то я был далеке, / Всё то же на ней из поплина счастливое платье...»* Понятно, я не ассоциирую себя с Надеждой. Радуюсь, что подарила поэту одно слово. Или это случайное совпадение?..

На переводах с русского на русский много не заработаешь. Я окончила институт, поболталась в окололитературном про-

странстве, потом для меня нашлось место в штате журнала «Крестьянка», в отделе семьи и быта.

Узнав об этом, Булат поморщился: «А кто заведует отделом литературы?» Я сказала. Фамилия была ему неизвестна. «Может, сделать рокировку: вас – туда, а ее – сюда?» – задал он мне риторический вопрос. Но это подействовало ободряюще: значит, принимал меня всерьез, желал мне удачи...

В то время Булат уже работал в отделе поэзии «Литературной газеты». Мемуаристы вспоминают гитару, лежавшую на шкафу. Я ее не видела или не придавала ей значения. Общались исключительно по делу.

Он попросил меня принести стихи. Отобрал несколько. В секретариате начали мою подборку раздевать, как капусту. Осталось одно стихотворение «Сказки». В день, когда номер подписывался к печати, я сидела в маленьком, зато отдельном кабинете Булата, и, кажется, шмыгала носом.

«Сказки» тоже забодали: невинный стишок в двенадцать строк. Булат подарил мне гранки стихов, старался меня утешить: «Немецкую сказку пропустили, английскую пропустили, французскую пропустили, а вот русскую – никак...» – и он сделал уже знакомый мне жест: горестно развел руками и открыл ладони в мою сторону, как бы призывая небо в свидетели...

В конце шестидесятого или шестьдесят первого года Эльмира Котляр, дружившая с Булатом, пригласила меня на вечер трех поэтов в Литературном музее: Виктора Бокова, Давида Самойлова и Булата Окуджавы.

Я была поражена доселе неведомым мне Булатовым триединством: слов, музыки, голоса. Словесность мне ближе всего и, как пьяная, я долго потом бормотала сразу запавшие в память строки о последнем троллейбусе и рухнувшем счастье, о шарике, который улетел и ко мне молодой не вернется, об Арбате – районе моей любви, где до сих пор, верно, живы мои следы, ведущие в никуда. Мне казалось, что все эти песни – обо мне...

Как могла я, общаясь довольно долго с поэтом, не узнать, не почувствовать главного в нем: вот этого волшебного триединства?

Я перелистывала книгу его стихов «Острова» с дарственной надписью: при всей свежести в ней было что-то натужное: как будто человек все время идет в лесистую гору и по дороге раздирает ветки, отбрасывает с пути камни. В песнях он не шел, а летел и других прихватывал с собой; головокружительно-легко было нестись на волне его стихомелодии...

Через несколько месяцев песни Булата Окуджавы в любительских магнитофонных записях взяли без боя Москву, а потом и всю страну.

На радио их не допускали, на телевидение – тем более. Официально считалось, что они унылы, пессимистичны, не туда зовут молодежь, фиксируют внимание на темных сторонах быта. Но люди видели в них свет, и все чаще он выступал (за пятнадцать рублей, как мы все) от Бюро пропаганды художественной литературы в различных НИИ, учебных институтах, разного рода учреждениях, даже во Дворце спорта в Лужниках перед тысячами слушателей. Дамы из Бюро, в основном писательские жены, его любили и умело подавали, чтобы не вызвать недовольства начальства, как главное блюдо с гарниром из менее известных, но не чуждых ему авторов.

В Московском авиационном институте, я должна была выступать вдвоем с Булатом. Пришла пораньше, зная о большом наплыве людей. Но двор был так запружен его почитателями, что пробиться сквозь толпу не было никакой возможности. Никто не слышал моего вопля: «Я тоже выступаю, меня ждут, пустите меня, пустите!»

Тут какой-то парень, на голову выше других, буквально втащил меня в помещение. Булат, уже бывший на месте, горько усмехнулся, услышав эту историю.

Что в ней удивительного? Его самого, как следует из рассказа «Подозрительный инструмент», недоверчивые стражи столкнули с крыльца библиотеки, где ожидалась, да так и не состоялась встреча с Окуджавой...

Что влекло к нему народ? То же, что и меня? Каждый думал: это обо мне говорится и поется, именно так я чувствую и

думаю; непонятно, как этот грузин с гитарой заглянул в такие глубины моей души, куда и сам-то я боюсь смотреть.

Но бывает ли в обществе такое единомыслие и единочувствие?.. Или наши советские люди устали от официоза и хотели вот так, не через приемник или голубой экран, а с глазу на глаз пообщаться с умным и тонким, полным иронии и самоиронии, много пережившим человеком?..

Было ли явление Окуджавы политической отдушиной? До какой-то степени да. Всеобщее поветрие страха – наследие недавнего прошлого как будто обошло его стороной.

Он пел о расстрелянном отце, о мании секретности (*«Не закрывайте вашу дверь, / Пусть будет дверь открыта»*), о преступности всякой войны, о засилии дураков и гонении умников, о стукачестве (*«Черный кот»*), об обреченности отжившего и неизбежности нового (*«Песенка о метро»*).

Он просил, даже требовал: «Берегите нас, поэтов. Берегите нас...» Трагическая судьба наших предшественников многим была известна. Слушатели у него были догадливые, сообразительные, все понимали с полуслова.

Многие его строки вызывающе современны. Будь наши политологи понаходчивее, они бились бы за честь процитировать: *«Перестаньте, черти, клясться на крови...»* Или: *«Дай рвущемуся к власти навластвовать властью...»* Или еще хлеще: *«Видно, так, генерал: чужой промахнется, / А уж свой в своего всегда попадет»*. Времена меняются, но темные страсти агрессии и любоначалия – все те же...

Нельзя сбрасывать со счетов и таинственную власть поэзии, чистой лирики – тут Окуджава, по-моему, превзошел всех бардов. Стихи его не так просты, как некоторым кажется. Их доступность порой основана на недоразумении. Снимаешь смысловой слой за слоем, и там, где у других пустота, у него новый лабиринт, где можно и заблудиться...

Я считаю, что мне повезло: слушала Булата в лучших залах Москвы, пересекалась с ним и его семьей в Коктебеле и Дубултах, неоднократно попадала в одну с ним бригаду во время писательских поездок.

Свидетельствую: в Иванове, Шуге, Палехе, Сыктывкаре, Княжпогосте, Инте, Воркуте, Львове его так же хорошо знали и так же готовы были слушать до утра, как и в столице нашей родины. Бывало, мы еще только входим в вестибюль здания, а местный оркестрик или группа музыкантов уже наяривают его мотивы.

Товарищем он был великолепным. Умел подать другого поэта так, что в аудитории не поглядывали, томясь, на часы: когда уж этот или эта закончит и даст слово любимому Окуджаве. Вы чувствовали себя с ним на равных не благодаря своим достоинствам, а потому что он этого хотел и всегда добивался...

Был момент, когда, стоя рядом за кулисой, он разоткровенничался со мной: «Вам и вашим ровесникам все это в кайф: аплодисменты, вызовы на «бис». А мне это уже не нужно, мне – поздно...» В другой раз, в купе поезда, говорил, поднимая худые плечи, точно сам себе не веря: «Всю жизнь я занимался тем, чем хотел, и мне еще платили за это деньги...» Какое настроение преобладало – не знаю. Порой и после оглушительного сценического успеха вид у него был несчастный...

В одной из районных гостиниц... не в такой ли он нашел жемчужное зерно своей песенки о трубаче («*Судьба, судьбы, судьбе, / Судьбою, о судьбе*»)... мне вдруг показалось, что он похож на Чарли Чаплина. Ей-Богу, похож: эти усики щеточкой, эта грациозная неловкость позы и, главное, вышибающая из вашего нутра попеременно смех и слезы биохимическая смесь веселого и печального, изливаемая в песнях.

За ужином в ресторане я сказала ему об этом. К моему удивлению, он сразу согласился. Недавно за границей, вспомнил он, какой-то ребенок при виде его закричал: «Смотри, мама, Чарли Чаплин!»

Один из любимых анекдотов Булата – про Эдика. Рассказывал он бесподобно. Муж уехал в командировку (авансом раздаётся общий смех). Возвращается и видит, что на кухне рядом с женой сидит щупленький человечек. «Ты кто

такой?» (грозно). «Я – Эдик!» (жидким тенором). Муж хватает его за шкирку и выбрасывает за дверь... В следующий раз тот же тип сидит в спальне в ногах у жены. «Ты кто такой?» (еще грознее). «Я – Эдик!» Муж сгребает его и спускает с лестницы... В третий раз он входит в спальню и видит рядом с женой настоящего громилу. Испуганно пьтится к двери: «А где Эдик?»... Уморительна была в устах Булата столь не свойственная ему интонация покорности и растерянности...

Развлекались подобным образом на вечерних банкетах после трудового дня, включавшего два, три, а то и четыре выступления. Все, что произносил Окуджава, выгодно отличалось от тяжелых, подчас соленых баек хозяев стола: текстильщиков, шахтеров, партийных работников.

Когда я слышу *«Среди совсем чужих пиров / И слишком ненадежных истин...»*, я всегда вспоминаю эти утомительные застолья. И общеизвестное ныне: *«Возьмемся за руки, друзья, / Чтоб не пропасть поодиночке...»* отношу и на свой счет...

...Это случилось во Львове и тоже за вечерней трапезой. Только тогда мы и отдыхали от напряжения дня. Да и время было напряженное: высылка Солженицына, «Хроника текущих событий», диссиденты, обыски, «отказники». Почти все наши коллеги в тот раз разошлись, я сидела между Булатом и Виталием Коротичем.

Некто из ответственных местных работников явно хотел завязать с немного расслабленным Окуджавой персональную беседу. Внезапно Булат резко посерьезнел. «Если кто-нибудь когда-нибудь вам скажет, что он... – ткнул пальцем в сторону Коротича... – или она... – тот же жест в мою сторону... – или я в том-то и том-то виновны, – не верьте!» Ни разу ни до, ни после не видела я его таким суровым и безутешным...

А через несколько лет я, действительно, угодила в виновные. Решившись ехать за мужем и дочерью в эмиграцию, открыто объявив об этом в Союзе писателей, была из него мгновенно исключена и наказана непечатаением, вытолкнутостью из литературной среды и в результате теми же безработицей и безденежьем, с которых когда-то начинала.

От идеи отъезда я тогда отказалась сама, по другим, более веским, почти мистическим причинам. Но путь к нормальной жизни был для меня надолго закрыт.

Неизвестно, узнала ли бы я о вечере Булата в Центральном Доме Литераторов, если бы подруга не догадалась купить для меня билет.

Публики было, как всегда, – полный зал. Но какие-то тетки шныряли между рядами, высматривали, не принес ли кто-нибудь с собой аудиотехнику, запрещали делать магнитофонные записи. Одна такая, заметив в моей руке сумку-чемоданчик, потребовала ее открыть и продемонстрировать содержимое. Я сразу вспомнила Булатово: «*Ловит нас на честном слове, / На кусочке колбасы...*».

Наконец, начался концерт. Булат вышел на сцену под бурные рукоплескания. Он изменился. Поседел. Взирал на зал сквозь стекла очков. Новыми песнями обогатился его репертуар, но и то, что я издавна любила, знала наизусть, тоже исполнялось в этот вечер, весной восемьдесят первого года. Ни хирурги, ни психоаналитики не сумели бы так виртуозно извлечь из моей гортани плотный, болезненный ком и наполнить грудь чистым воздухом, как это сделал Булат своим пением.

Вернувшись домой, я написала стихи, посвятив их ему:

*Мы – поколение унесённых ветром,
Куда ни кинь, разлуки и распад.
Мир не в себе, и только Небу ведом
Всех передряг конечный результат...
И я была почти готова к бегству,
Ждала чего-то с жаром и тоской.
Но, точно кошка привыкает к месту,
Привыкла я к Москве, срослась с Москвой.
Не завела я ни икон стринных,
Ни ваз – что мне таможенный досмотр!
Но мамина могила – пять былинков,
Кто их посадит в землю и польёт?
Я не стяжала ни мехов, ни злата,*

*В одной руке багаж свой унесу.
Но жалко было покидать Булата
И нескольких родных по ремеслу...
Нет, я к виску не приставляла дула,
Не прятала лица под чёрный плат.
Две чаши у весов. Перетянула
Та, где Москва, и мама, и Булат...
Меня пытаются: «Что всё это значит:
Туда – сюда? Россия – не вокзал!»,
По мне хорошая дубина плачет.
Ну, а Булат иное мне сказал:
Познав Любовь, и Веру, и Надежду,
Не страшно в самом яростном огне.

И сбросила я прежнюю одежду,
И свет Преображения на мне.*

В один из далеких по времени дней Булат, встретив меня на литературных посиделках, сказал: «Мы так давно знакомы, пора бы нам перейти на “ты”...»

Я хотела ответить его же стихами: «Зачем мы перешли на “ты”?», но его товарищеский тон не располагал к таким шуткам. «Хорошо, – согласилась я, – давай будем на „ты“, но мое “ты” всегда будет стремиться к “вы”...»

Возрастная дистанция, возникшая в юности, обычно сохраняется годами. Я всегда знала: Булат не только старше – мудрее, смелее, свободнее меня. Его мнение много для меня значило, но, чувствуя границу дозволенного, я старалась не злоупотреблять нашим старым знакомством.

Подарив ему свою книгу, не выпрашивала, что он о ней думает, не заводила разговора вроде бы о другом, но в свою пользу. Стыдно было при нем холить и лелеять свое «я».

Как-то раз он сказал мне безотносительно к конкретному случаю: «Книгу с автографом следует дарить только тому, кто об этом попросит». Я запомнила это. В эпоху затянувшегося протектульта он незаметно, мимоходом учил меня, и не одну меня, аристократизму.

Так и не осмелилась спросить его: «Веришь ли ты в Бога?». Из отдельных строк, из ответов на записки, в изобилии приходившие во время его выступлений, следует, что человек он неверующий, во всяком случае, не принадлежащий к определенной конфессии.

Но – парадокс – поэзия его религиозна. У кого еще из «шестидесятников» такой прорыв к высшему, такая внутренняя способность к молитвенному состоянию души?..

В ритуальном зале мюнхенского Северного кладбища я слушала «Прощание с новогодней елкой», заказанное Владимиром Войновичем для его Ирины, и думала, что песни Булата стали своего рода религией для нашего поколения. И мне захотелось поклониться ему за это до земли...

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Дмитрий Урушев

«И не молчат колокола...»

Краткий период между революциями девятьсот пятого и девятьсот семнадцатого годов принято называть «золотым веком старообрядчества». Воспользовавшись указом Николая II о даровании свободы вероисповедания, староверы за двенадцать лет наверстали то, что упустили за двести пятьдесят лет гонений.

Точное число старообрядцев в Российской империи неизвестно. Официальная статистика утверждала, что в начале прошлого столетия в стране было около двух миллионов душ «раскольников». Причем, если верить статистике, число это постоянно сокращалось, что свидетельствовало о несомненном служебном рвении полиции и духовенства Синодальной Церкви. Однако, вопреки этому рвению и сведениям статистики, в действительности в начале XX века в России проживало не менее пятнадцати миллионов староверов. По некоторым данным «древнему благочестию» следовало до трети всех великороссов.

К старообрядчеству принадлежали крупнейшие предприниматели, в чьих руках были сосредоточены основные промышленные и финансовые ресурсы России. Имена многих широко известны: текстильные фабриканты Морозовы, про-

мышленники и финансисты Рябушинские, владельцы фарфорового производства Кузнецовы. Прихожанином храмов Рогожского кладбища был коммерции советник, купец первой гильдии Козьма Терентьевич Солдатенков, знаменитый книгоиздатель и устроитель Солдатенковской (Боткинской) больницы.

По всей Волге гремела слава крупнейших предпринимателей и благотворителей Дмитрия Васильевича Сироткина из Нижнего Новгорода и Ивана Львовича Санина из Самары. А о хлеботорговцах Мальцевых из Балаково Саратовской губернии, имевших торговлю по всему миру, говорили, что они диктуют цены на хлеб лондонскому Сити.

Однако эти миллионщики не имели возможности открыто помогать старообрядчеству, строить храмы, открывать приходские школы и издавать церковные книги. В вопросах религиозной жизни они были так же бесправны, как и их простые братья по вере, лишенные многих гражданских свобод.

Бесправие «раскольников» так описал в начале XX века правовед Рейснер: «Если в общем гарантированная расколу терпимость ставит его наряду с религиями грубого язычества, то в частности раскольники поставлены даже ниже язычников. Так раскольникам запрещается “всякое публичное оказательство” веры, тогда как инородцам это не запрещено. Так раскольники лишены права законного церковного брака, тогда как “каждому племени и народу”, не выключая и язычников, дозволяется вступать в брак по правилам их закона или по принятым обычаям, без участия в том гражданского начальства.

Даже самое богослужение раскольников стеснено в высшей степени: они не имеют права иметь свои богослужebные книги, а должны приобретать их в “особой”, учрежденной правительством, типографии. Они не имеют права иметь свои особые священные изображения и иконы, и даже вступление раскольников в иконописные цехи может состояться не иначе, как с разрешения министра внутренних дел».

Но уже в XIX веке стала очевидной необходимость дарования религиозной свободы старообрядцам. В том столетии,

омраченном войнами, заговорами и покушениями, староверы имели возможность не раз засвидетельствовать российскому императорскому престолу свою искреннюю верность. Недавно премьер-министр Витте утверждал, что старообрядцы «всегда составляли элемент наиболее консервативный, наиболее преданный своему царю и родине».

Вот один из многих примеров проявления этого верно-подданнического чувства. Когда первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года народовольцами был убит император Александр II, московские староверы-поповцы тотчас испросили у властей разрешения принести присягу новому Государю. Разрешение было получено, в Рождественском соборе на Рогожском кладбище была поставлена «походная церковь», пожертвованная Солдатенковым, и после торжественного молебна духовенство и миряне присягнули Александру III.

Правительство этого императора несколько смягчило законодательство о «раскольниках»: через два года был принят закон, дозволявший свободное отправление старообрядческого культа, но без всяких внешних проявлений – без колокольного звона, крестных ходов и облачения духовенства в ризы. Также староверам дозволялось иметь паспорта и с разрешения властей ремонтировать храмы, что раньше было запрещено.

В соответствии с этим законом в самый день коронавания Александра III, в Покровском соборе на Рогожском кладбище была установлена «походная церковь», где регулярно совершалась литургия. Но в ноябре следующего года временные алтари в кладбищенских храмах были разобраны по распоряжению московского генерал-губернатора. Стало ясно, что Александр III не намерен предоставлять старообрядцам полную религиозную свободу.

Долгожданная свобода была получена староверами лишь после революции тысяча девятьсот пятого года. Правительство императора Николая II, напуганное массовым революционным движением, спешно искало поддержки многомиллионного консервативного старообрядчества и одновременно

начинало демократизацию страны. Провозвестием духовной свободы стало открытие алтарей храмов Рогожского кладбища, запечатанных еще в середине XIX века.

Накануне Пасхи, в Рогожскую слободу по высочайшему повелению прибыл генерал-адъютант Голицын. В Покровском соборе собралось все кладбищенское духовенство и человек триста народу. С амвона Голицын зачитал царскую телеграмму: «Повелеваю в сегодняшний день наступающего Светлого праздника распечатать алтари старообрядческих часовен московского Рогожского кладбища и представить впредь состоящим при них старообрядческим настоятелям совершать в них церковные службы. Да послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие долговременного запрета новым выражением моего доверия и сердечного благоволения старообрядцам, искони известным своею непоколебимую преданностью престолу».

Собравшиеся в храме были потрясены. В совершенной тишине Голицын срезал печати с алтарных дверей. Сбили замки с южной диаконской двери – ключи были давно утеряны, – зажгли свечи и вошли в алтарь.

Присутствовавший при этом писатель Гиляровский рассказывал: «Отворили двери. Пахло сыростью, хотя было светло, так как окна не забивались. Сорок девять лет сделали свое дело. Кое-где упали иконы; на полу, покрытые пылью, валялись скелеты голубей и галок, прорвавшихся сюда в разбитые окна и пропавших с голода. Стены заплесневели. Покровы сотлели... Много, очень много попортилось икон и пропала под плесенью стенная живопись». Потом был распечатан алтарь Рождественского храма.

Через несколько часов у Покровского собора собралось более десяти тысяч староверов. До сорока человек убрали алтарь, готовя его к праздничной службе, которая прошла на этот раз необыкновенно торжественно. Слова пасхального канона: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного живота вечного начало» христиане восприняли как пророчество о начале поистине новой жизни. В слезах

нечаянной радости они славили Воскресшего Спасителя и благословляли царя.

На следующий день, семнадцатого апреля был издан императорский указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он касался всех российских «иноверцев»: мусульман, буддистов, сектантов (протестантов) и старообрядцев. Николай II надеялся, что указ обеспечит «каждому из наших подданных свободу верования и молитв по велениям его совести».

Новый закон запрещал называть староверов «раскольниками», разрешал свободное отправление духовных треб, рассматривал вопросы брака, усыновления, составления духовных завещаний и прочее. В то же время власти лишний раз заявили поповцам о непризнании Белокриницкой иерархии. Указ повелевал старообрядческим священникам и епископам называться только «настоятелями» и «наставниками», хотя и освобождал их от призыва на действительную военную службу. Старообрядческому архиепископу Иоанну (Картушину*), находившемуся в ссылке, было дозволено вернуться в Москву.

Этот закон, пусть и не вполне совершенный, был весьма важен для староверов. Наконец-то поповцы и беспоповцы могли облегченно вздохнуть и заняться спокойным устройством своей религиозной жизни. Период с девятьсот пятого по девятьсот семнадцатый год стал «золотым веком» русского старообрядчества.

Невозможно в кратком очерке рассказать обо всех достижениях староверия за эти двенадцать лет. За столь небольшой срок было наверстано то, что старообрядцы упустили за двести пятьдесят лет гонений. Строились храмы, открывались школы и училища, созывались съезды и Соборы, создавались политические партии, выпускались грампластинки с записями церковного пения, издавались богослужебные книги, христианские журналы и газеты. Даже в начале XXI века староверы сохраняют духовный импульс, полученный тогда.

* 1837–1915 гг.

Они молятся в храмах, тогда воздвигнутых, по книгам, в то время напечатанным, пред иконами, тогда написанными.

Дарование свободы вероисповедания в первую очередь коснулось общественной жизни. Открыто созываются Соборы и съезды. Староверы-поповцы устраивают в Москве ежегодные Всероссийские съезды, призванные усилить роль мирян в управлении Церковью. Свои Соборы проводят беспоповцы разных согласий: поморцы, федосеевцы, филипповцы, нетовцы и часовенные.

Голосом освобожденного староверия стали многочисленные периодические издания. Больше всего издавала журналов и газет Старообрядческая Церковь. Значительнейшими из них были журналы «Церковь», «Старообрядческая мысль» и «Старообрядец».

Раньше староверы не могли легально печатать свои богослужебные книги. Им приходилось пользоваться либо старомосковскими изданиями, выпущенными до патриарха Никона, либо книгами, напечатанными в зарубежных типографиях и тайно привезенными в Россию; либо изданиями московской типографии единоверцев.

Но теперь церковное книгопечатание становится свободным. Крупнейшую и лучшую типографию открывают федосеевцы на Преображенском кладбище. Высоким качеством изданий была известна печатня федосеевца Луки Арефьевича Гребнева в селе Старая Тушка Вятской губернии. Большим ассортиментом и изящными шрифтами славилась типография в городе Уральске, основанная епископом Арсением. Своей типографией обзавелось и Рогожское кладбище.

Церкви не хватало подготовленных людей, способных преподавать в приходских школах. Эта насущная проблема была решена в двенадцатом году – на Рогожском кладбище открылся Старообрядческий богословско-учительский институт. На первый курс без экзаменов были приняты двадцать три человека. Директором Института стал Александр Степанович Рыбаков, отец известного историка, академика Бориса Рыбакова.

На открытии Института к заведующему и преподавателям с напутствием обратился архиепископ Иоанн: «На вас с надеждой смотрит не только Москва, но и вся старообрядческая Русь. Выпустите людей знающих быт, нужды и запросы старообрядчества, людей религиозных. От того, каков будет Институт, зависит вопрос и о самом образовании в старообрядчестве. Будет удачен пример – еще откроются институты, не будет удачен – старообрядчество оставит мысль о высших старообрядческих школах».

К сожалению, Первая мировая война и октябрьский переворот семнадцатого года, образно говоря, поставили крест на планах церковного образования: в восемнадцатом году Институт был закрыт.

Но наиболее значительными памятниками дарованной свободе вероисповедания стали многочисленные храмы-новостройки. Часто их проектировали знаменитейшие и лучшие архитекторы. Например, прославленный Шехтель по заказу Мальцевых возвел в Балаково величественную церковь во имя Пресвятой Троицы. Талантливый ученик Шехтеля Бондаренко построил в Москве и Подмосковье несколько прекрасных храмов в древнерусском стиле.

Церкви возводились по всей стране. Но, конечно же, особенно много храмов было построено в Первопрестольной столице. Пережившие большевицкое лихолетье, не все они, к сожалению, были возвращены законной владелице – Старообрядческой Церкви. Назовем лишь некоторые из московских храмов.

Памятником, посвященным распечатыванию алтарей соборов Рогожского кладбища, стал мемориальный храм-колокольня во имя Воскресения Христова. Он был построен на Рогожском кладбище по проекту архитекторов Горностаева и Иванова. По преданию, колокольня лишь на один кирпич ниже кремлевского «Ивана Великого». Деньги на колокола – тридцать тысяч рублей – пожертвовала потомственная почетная гражданка Москвы Феодосия Ермиловна Морозова.

Другим храмом-памятником стал Успенский собор на Апухтинке у Покровской заставы, возведенный в девятьсот шестом-девятьсот восьмом годах по проекту архитектора Поликарпова. Великолепная церковь со звонницей строилась по образцу кремлевского Успенского собора. Храм украсили древние иконы, собранные из старообрядческих моленных со всей Руси.

В пятиярусном иконостасе, обложенном серебряной вызолоченной басмой, находились образа XV–XVII веков новгородских и московских писем. В особых киотах помещались иконы «Минеи месячные» строгановского письма. Престол в алтаре был высечен из цельного камня по древнему образцу, здесь же находились иконы корсунских писем XV века. В храме хранился серебряный ковчег с частицами мощей многих святых: Иоанна Крестителя, апостола Матфея, Николы Чудотворца, Сергия Радонежского, частью Гроба Господня и Ризы Господней.

Чин освящения церкви совершил девятого ноября тысяча девятьсот восьмого года архиепископ Иоанн. Когда в конце Всенощной торжественно загудел большой колокол, весивший триста пятьдесят пудов, многие богомольцы расплакались от счастья. Уже за праздничной трапезой один из них произнес экспромт:

*Исчезла вековая мгла,
Кресты и главы заблистали,
И не молчат колокола,
Что два столетия молчали!*

Величественный храм на Апухтинке был одним из красивейших в России, а по благолепию и богатству убранства мог поспорить с соборами Кремля и Рогожского кладбища. Не зря искусствовед Муратов писал: «Впечатление глубокой цельности и тонкой красоты производит такая церковь, как храм Успения у Покровской заставы, созданный не знающим усталости усердием, не знающей ошибок любовью к старине».

К великому сожалению, эта прекраснейшая церковь была закрыта в середине тридцатых и перестроена в уродливое четырехэтажное общежитие.

На деньги богатых dobroхотов в Москве были построены и другие старообрядческие храмы, не менее красивые и чудесно убранные. Но к настоящему времени Церкви возвращены из них только два: Никольский у Тверской заставы и Покровский на Остоженке.

Никольский храм на Бутырском валу был построен в псковско-новгородском стиле в четырнадцатом-шестнадцатом годах по проекту архитекторов Кондратенко и Гуржиенко на средства купцов Ивановых и Ивана Ульяновича Ульянова. Из-за трудностей военного и революционного времени храм был освящен только в двадцать первом году...

Покровский храм в Турчаниновом переулке строился по проекту Адамовича и Маята на средства Рябушинских. В основу проекта была положена новгородская церковь Спаса на Нередице. Храм был убран ценнейшими иконами XV–XVII веков из знаменитого собрания Степана Павловича Рябушинского.

Строительство храмов, книгоиздательство, открытие учебных заведений... Какая созидательная и насыщенная христианская жизнь! Нежданной свободой старoverы сумели воспользоваться в полной мере.

Но относительно благополучное и спокойное существование в одночасье кончилось в семнадцатом году. Все было как во дни Ноя: *«ели, пили, женились, выходили замуж... и пришел потоп, и погубил всех» (Лк. 17,27).*

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр Ревич

Седое с детства поколение

«...Седое с детства поколение!..» – так одной строкой из стихотворения «Лебединое озеро», написанного в годы войны, Илья Сельвинский выразил суть своего времени.

До последнего часа он был предан мечте своей молодости – идее справедливого общества на земле, революции и вере в коммунизм. Так и не смог он понять, почему его отторгает партийное руководство, за что преследуют рьяные идеологи ленинизма. Только в последние годы жизни его осенило, и он записал в невыносимом для цензуры того времени стихотворении «В ленинско-сталинском мавзолее» такие строки:

*В двух саркофагах сны революции –
Грёза её и её кошмар.*

В беседе с глазу на глаз он сетовал: «Не понимаю, чего они от меня хотят».

Автор предисловий к двум изданиям стихов Сельвинского Лев Озеров, рассказывая, как шестнадцатого ноября сорок третьего года, в разгар войны, Сельвинского срочно вызвали радиোগраммой из действующей армии в Москву, цитирует дневниковую запись поэта:

«Заседание оргбюро ЦК вел Маленков. «Кто этот урод?» – металлическим голосом спросил он (речь идет о стихотворении *«Кого баюкала Россия»: «Сама как русская природа / Душа народа моего: / Она пригреет и урода, / Как птицу, выходит его...»* – А. Р.).

Я начал было ему объяснять смысл этого четверостишья, но он меня перебил: «Вы тут нам бабки не заколачивайте. Скажите прямо и откровенно: кто этот урод? Кого вы именно имели в виду? Имя?» – «Я имел в виду юродивых». – «Неправда! Умел воровать, умей и ответ держать!» Вдруг я понял, что здесь имеют в виду Сталина: лицо его изрыто оспой, мол, русский народ пригрел урода...

Неизвестно, как и откуда в комнате появился Сталин. Неся, как обычно одну руку в полусогнутом состоянии, точно она висела на перевязи, он подошел к Маленкову и стал тихо о чем-то с ним разговаривать. Насколько я мог судить, речь шла не обо мне. Затем Сталин отошел от Маленкова, собираясь, видимо, возвратиться к себе, и тут взглянул на меня: «С этим человеком нужно обращаться бережно, его очень любили Троцкий и Бухарин...»

Я понял, что тону, Сталин уже удалялся. «Товарищ Сталин! – заторопился я ему вдогонку. – В период борьбы с троцкизмом я еще был беспартийным и ничего в политике не понимал». Сталин остановился и взглянул на меня напряженным взглядом. Затем подошел к Маленкову, дотронулся ребром ладони до его руки и сказал: «Поговорите с ним хорошенько: надо спасти человека».

Сталин ушел в какую-то незаметную дверцу, и все проводжали его глазами. Маленков снова обратился ко мне: «Ну, вы видите, как расценивает вас товарищ Сталин! Он считает вас недостаточно выдержанным ленинцем». – «Да, но товарищ Сталин сказал, что меня надо спасти». Эта фраза вызвала такой гомерический хохот, что теперь уже невозможно было всерьез говорить о моем «преступлении».

Возвратился домой совершенно разбитый: на Оргбюро я шел молодым человеком, а вышел оттуда дряхлым стариком. Боже мой! И эти люди руководят нашей культурой».

Снова полностью привожу эту запись Сельвинского. Какой фарс! Хороша эпоха и режим, хороша страна, где с большим художником можно играть, как кошка с мышью!

Разумеется, это была система. Партийное руководство беззащитно подавляло и преследовало лучших, наиболее независимых представителей, так называемой, советской культуры, кого оно подозревало в «несоветскости». Илья Сельвинский оказался в одном ряду с Ахматовой, Зощенко, Платоновым и Пастернаком, в одном ряду с Мейерхольдом, который, кстати, поставил на своей сцене пьесу Сельвинского «Командарм-2».

В пору знаменитых партийных разносов, в их числе всем известное постановление о злополучных журналах «Звезда» и «Ленинград», – мишенью нападок стал и Сельвинский, по словам Маленкова, «пригретый» этими журналами. Жданов, громя журнал «Ленинград», также «проехался» по Сельвинскому, незаслуженно обругал его за стихотворение «Севастополь», одно из самых обжигающих стихотворений времен Отечественной войны.

Однако почему-то никто, говоря о творчестве Ильи Сельвинского, не рискнул коснуться истинных причин неприятия и травли этого поэта. Его сочинения явно не совпадали с представлениями вождей партии и государства и не отвечали принципам «партийной литературы», в произведениях поэта нередко отражалось чувство неблагополучия в стране и обществе:

*Литература не просто струна,
Что нам завещал по наследству прадед:
Если поэзию лихорадит,
Значит, недомогает страна.*

В тридцатых годах поэт пишет стихи в «тайную» тетрадь. Эти стихи и некоторые другие потом войдут в сборник «Pro domo sua» (для себя самого (лат.) – А. Р). При жизни Сельвинского это, естественно, не публиковалось.

Вот некоторые строки стихотворений тех лет: *«Нас много одиноких – вся Россия»*; *«Черным крестом лежишь в темноте, / Словно могила в поле»*; *«... Черта ли мне в нашей индустрии – / Что вы сделали с моей душой?»* Такая подчас прямая публицистика – но сколько боли!..

Вспоминается высказывание Максимилиана Волошина о Блоке. Оно уместно и в отношении поэзии Ильи Сельвинского: *«В эпохи катастрофические поэт может быть унесен какой угодно струей внезапного водоворота, сражаться в рядах какой угодно партии – как поэт он станет голосом всей катастрофы»*.

В произведениях Сельвинского вопреки его авторской воле все время прорывается нечто неуютное советскому режиму. Он писал не то, чего от него хотели, а то, что видел собственными глазами. Этому нравственному принципу он был верен всегда, и даже одно его стихотворение времен войны об истреблении нацистами мирного населения оккупированной Керчи так и озаглавлено: *«Я это видел»*. Знаменательное название.

В предисловии к двухтомнику избранных сочинений Сельвинского, изданному в пятьдесят шестом году, критик Огнев неосознанно раскрывает мотивы партийных претензий к автору эпопеи *«Улялаевщина»*: *«...живописная одаренность Сельвинского, к сожалению, проявилась полнее в изображении разгула улялаевщины, чем в изображении положительных героев»*.

Что поделаешь? Не получилось у поэта одическое воспевание победителей. Душа не лежала. Автор выразил объективную картину жестоких событий. Впоследствии под нажимом партийной критики, искренне усомнившись в своей правоте, в более поздних вариантах эпопеи Сельвинский подробно разработал образы большевиков. Ничего хорошего из этого не вышло. Сельвинский часто переделывал свои произведения, порой ухудшал их. В беседе на вопрос: *«Илья Львович, что вы сделали с «Улялаевщиной»? Зачем ее переделали?»* – отвечал сдержанно, недовольно: *«Вы так думаете?»*

Со слов Льва Озерова, Сельвинский, прекрасно понимая сам преимущество первых вариантов, оправдывался тем, что

читатель, дескать, не приемлет новый вариант, потому что привык к старому.

Но читатель уж слишком часто отвергал вторые и последующие варианты, чувствовал подмену. Сопоставляют варианты первой строфы замечательного по глубине чувства стихотворения «России»: первый –

*Хохочет, обезумев, конь!
Фугасы хлынули косые...
И снова по уши в огонь
Вплываем мы с тобой, Россия...*

– и второй –

*Взлетел расщепленный вагон!
Пожары... Беженцы босые... –*

Озеров приводит доводы Сельвинского в пользу этой правки: мол, в пору Отечественной войны конница не играла такой роли, как в пору войны гражданской.

Однако невооруженным глазом видно, насколько сильнее конкретный образ живого хохочущего коня и такой же конкретный ливень фугасов, чем обязательные во всякой военной лирике того времени пожары, и беженцы босые...

В молодости Сельвинский прошел школу гражданской войны, еще не окончив гимназию, попал сперва в отряд анархистов, а потом – к красногвардейцам. Этот опыт стал бесценным материалом для будущих стихотворений и поэм.

Обладая природным эпическим даром, Сельвинский явился выразителем поистине народной жизни. Наряду со сценами дикой вольницы в «Улялаевщине» и в великолепных ранних новеллах: «Казнь Стецюры», «Мотъкэ-Мелхамовес» – поэт рисует привольное жите люмпена во время революции, тот же разгул голытьбы, что и у Блока в «Двенадцати».

Именно эта сторона «мирового пожара», предельно точно выраженная формулой «грабь награбленное», так же точно выражена строфой новеллы о Мотъкэ-Мелхамовесе, герой

которой одесский налетчик, художественный собрат бабелевского Бени Крика, при ограблении ювелирного магазина утешает потерпевших:

*Нет, кроме шуток, – что вы смотрите, как цуцки?
Вы ввозили сюда, мы вывозим туда.
В наше время, во время революции,
Надо же какое-нибудь разделение труда.*

Кстати, это написано года за два до публикации первой новеллы Бабеля из «Одесских рассказов». И еще: такие стихи невозможно читать без особенных, одесских интонаций.

Вообще, язык Сельвинского удивительно разнообразен. Народное эпическое действо требует самых различных речевых пластов. В «Улялаевщине» мы встречаем русско-украинскую смесь, так называемый, «суржик»:

*Улялаев був такий: выверчено віко,
Дірка в підбородці тай в уху серга.
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга.*

В произведениях Сельвинского разные персонажи имеют свою речевую манеру: простонародную, цыганскую, блатную, подчеркнута интеллигентскую, партийно-бюрократическую, с немецким акцентом, с чукотским, зырянским и еще Бог весть с каким.

Удивительное свойство художника, особенно сказавшееся в его драматургии. Сельвинский не стилизует, а без натуги, органично, воссоздает любой говор. Вот речь зырян из пролога «Пушторга»:

*Белая медведь под пургу вылазит,
Белая медведь суо ньями пурга... <...>
Белая медведь кушать крепко хочет – <...>
Только нету белухи и песец упрятался...*

Так же свободно воссоздается блатной жаргон, так называемая «музыка», позднее именуемая «феней»:

*Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу – золотой бамбер.
«Мусью, сколько время?» – Легко подхожу...
Дзззызь промеж роги... – и амба.*

И естественно, как бы невзначай, в стихотворную ткань ложится речевой строй цыганской песни:

*Ай-дай да, яяда-даяя,
Эх, и нож колыдованный, кони крадены,
За-це-луешь ты, шалая моя,
Черыные губы конокрадины.*

Так рождался совершенно новый принцип русского стихосложения – тактовик, рождался от распева, от песни. Сельвинский легко владел любимыми формами просодии – от сугубо новаторского стиха до строго классического. Он писал сонеты и даже «венки» сонетов и «короны», писал строгим ямбом, всегда сохраняя свою, присущую только ему манеру говора и интонации.

Стих Сельвинского ни с каким другим спутать невозможно. Маяковский полагал, что Сельвинский во многом шел по его стопам: «*Чтоб желуди с меня удобней воровать, / подставил под меня и кухню и кровать...*».

На самом же деле при определенном родстве обоих новаторов Сельвинский создал свою систему поэтики, отличающуюся от поэтики Маяковского. Резкие дискуссии этих двух поэтов остались далеко позади, теперь можно объективно судить о правоте каждого и оценивать их эстетические ценности.

Стих Сельвинского в значительной степени стал синтезом всего процесса развития русского стиха, и потому поэт мог с полным правом сказать:

*Люблю великий русский стих,
Еще не понятый, однако,
И всех учителей своих
От Пушкина до Пастернака.*

Его виртуозное стихотворчество порой выходит за пределы возможного – чего стоит хотя бы такой текст одной из частушек в романе «Пушторг»:

*Как ни ухни, кума:
Как ни эхни, кума,
Я не с кухни, кума,
Я из техникума.*

Такого у Сельвинского пруд пруди. В отличие от выкрутасов штукарей такое стихотворчество оправдано смыслом и духом произведения.

Невнимание к поэзии Сельвинского, а точнее, последовательное ее удушение при социализме, а в последнее время трактовка ее как сугубо советской выработали нелепый оценочный стереотип, из-за чего целые поколения читателей попросту не имели никакого представления об этом замечательном поэте, о его месте в русской поэзии XX века, о влиянии его творчества на развитие литературы.

А между тем абсурдизм Даниила Хармса или Николая Олейникова возник вслед за работой Сельвинского в том же направлении. Сам по себе абсурдизм как форма гротеска – тоже знак неприятия действительности, некая эстетическая оппозиция, но абсурдизм «обэриутов» – самоцель, а в поэзии Сельвинского – лишь одно из художественных средств.

Задолго до упомянутой ленинградской школы Сельвинский достигал сильнейшего сатирического эффекта, используя прием абсурда, в частности, в повести «Записки поэта», написанной своеобразным белым прозаизированным стихом и в виршах ее героя Евгения Нея:

*...Наконец подошла и села чёрная кошка,
Которую из чести к великой мамаше бара
Именовали не иначе как «мадам Кац»,
А за гущей рифмэтров, критиков и любопытных
В далёком углу сосредоточенно кого-то били.
Я побледнел: оказывается, так надо –
Поэту Есенину делают биографию.*

А вот стихи Нея:

*Трепещет рыбка, гибкая, как жало,
Серебряной монеткой у ловца;
С коротким топотаньем пробежала
Похожая на Пушкина овца.*

Гротеск Сельвинского куда смелее, чем у его последователей, не говоря уже о нынешних «новаторах»; пародируя известные всем образцы, они, к сожалению, лишены плоти, своего времени, пространства. В поэзии же Сельвинского пространство охватывает беспредельную географию России от Крыма до Чукотки, географию всей земли. В этом пространстве возникает жизнь самых разных людей, сословий, народов, их история.

Сельвинского интересует и человеческий мир, и мир животных, всяческих зверей: белых медведей, уссурийских тигров, тюленей Берингова моря, дальневосточных маралов. Здесь все изображено выпукло, как в искусстве барокко. В стихотворении «Охота на тигра», и вправду, как полная неожиданность:

*...Расписанный чернью, по золоту сед,
Драконом, покинувшим храм,
Хребтом повторяя горный хребет,
Спускался он по горам.*

Сколько здесь восхищения красотой мира, сколько любви! Любовь вообще самое главное, чем наполнена лирика Сельвинского. Чувство в его стихах всегда бескомпромиссно.

Для Сельвинского мотив любви – именно мотив, а не тема – играет решающую роль. Речь идет не о сочинении по поводу любви, как у большинства ее воспевателей, а сама любовь как природный дар, врожденное свойство всякого настоящего поэта. В стихах Сельвинского чувство неизменно распахнутое, без тормозов:

*...Позови меня, позови меня,
А не смеешь шепнуть письму,
Назови меня хоть по имени –
Я дыханьем тебя обойму!*

Все творчество поэта настроено на любви. И не только к женщине. В военном стихотворении «Тамань» изливается неизъяснимо щемящее чувство любви ко всему родному, за все:

*...За этот дом, за этот сад, за море во дворе,
За красный парус на заре, за чаек в серебре,
За смех казачек молодых, за эти песни их,
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих.*

И в упомянутом уже стихотворении «России» искренность признания в любви к стране, истекающей кровью, не вызывает ни малейшего сомнения:

*Люблю, Россия, птиц твоих –
Грачей, степенных, как крестьяне;
Под небом сокола стоянье
В размахе крыльев боевых;
И писк луны среди жнивья
В очарованьи лунной ночи,
И на невероятной ноте
Самубийство соловья.*

Однако вернемся к противостоянию: поэт Сельвинский – советское государство. Об «Улялаевщине» мы уже говори-

ли. В ней поэт объемно отразил страшную национальную трагедию: тогда, в гражданском шквале, худо пришлось всей стране, всему народу, независимо от классов, сословий и национальностей.

Не могла партия победившего пролетариата одобрить такое произведение. А ведь «Улялаевщина», наряду с «Тихим Доном», едва ли не лучшее произведение о гражданской войне, наиболее ярко выразившее ее ужас.

Равно потрясают образы разгула анархистских бандитов и отношение широких крестьянских масс к большевикам, впрочем, и образы последних:

*С другой стороны коммунисты. Ну да,
Братство, равенство. Что возразишь им?
Но мы задыхаемся, мы еле дышим –
То же дворянство, тот же удав.*

или:

*Первая Конная помещена в резерве
В районе станции Рва,
Где, вешая попутно мародеров на дереве,
Заканчивала формирование.*

Появление этой эпопеи было как гром среди ясного неба. Все говорило о гениальном даровании. Об этом сперва говорили, потом шептались, но никто не рискнул написать. Эстетика эпопеи все время сворачивала в сторону фарса, гротеска.

Эстетика была пугающей у самого Сельвинского. Этим пронизаны все ранние редакции его произведений. Роман в стихах «Пушторг», задуманный как сатира на капиталистический хищнический мир, которому должен был противостоять честный принцип советской торговли, на самом деле в образе Кроля и других партийных делег разоблачает не меньшую хищность нашей родной бюрократии и, кроме того, беспредельную власть начальственного невежества.

Подобное происходит и в драме «Пао-Пао». Автор намеревался обнажить абсурд капиталистического образа жизни – действие начинается в Берлине, но затем события переносятся в советскую Россию, «мечту» мирового пролетариата, и абсурд приобретает еще более уродливые формы.

Бессмысленные речи, лозунги, песни революции сразу же вызывают смех. Чего стоит такая цитата из Маркса-Энгельса:

*...Издание ГИЗА. Том 1. Гут.
«245 страница». Отлично.
Чтоб мощно выявить творческую личность,
Пролетарии должны уничтожить труд, –*

и тут же следом такая сентенция: «Превращение труда в самодеятельность». А в ответ на признание в любви комсомолке Варя героя драмы, очеловеченного орангутанга Пао-Пао:

*Вы помните, что говорил Шекспир:
«Она меня за муки полюбила» –*

девушка отвечает:

*Шекспир? Попутчиков не проходила.
Вот Безыменский читается быстро.
Знаешь его? Не знаете? Ах, мистер!
Он написал же «гореотума»
Под названием «Выстрел»!*

Снова, как и в «Пушторге», обнажается картина всеобщего дикого невежества. Все за гранью всякого смысла. Та же Варя на просьбу прочесть стихи, что-нибудь лирическое, декламирует:

*Пусть прогулы съест акула!
Да здравствует ни одного прогула!*

В эту буффонаду органически вписывается речение: «Массовое переселение народов в социализм».

Пьеса, или драматическая поэма «Пао-Пао», – фантазмагория, созданная Сельвинским вне зависимости от булгаковского «Собачьего сердца», опубликованного только в восемьдесят седьмом году в журнале «Знамя».

По свидетельству родственников Сельвинского, он был знаком с Булгаковым «шапочно» и как человек посторонний не мог быть допущен к чтению запретной рукописи. Однако совпадение ситуаций в этих двух произведениях поразительно. Их родила одна действительность, замысел витал в воздухе того времени.

Пао-Пао – подопытная обезьяна, которая подобно собаке Шарикку была очеловечена. Немецкий хирург Шульц пересаживает орангутангу мозг погибшего боксера, и обезьяна, попав в человеческое общество, сперва совершает успешное восхождение по социальной лестнице в капиталистическом мире, а потом, попав в Советский Союз постигает довольно печальный смысл жизни. В отличие от Шарикова Пао-Пао разумней и чище людей.

Из сказанного ясно: не мог поэт Сельвинский стать фаворитом режима, также как Мейерхольд, постановщик его трагедии «Командарм-2». Остается удивляться, как Сельвинскому удалось физически уцелеть. Маяковский, покончивший жизнь самоубийством, был канонизирован Сталиным посмертно, ибо опасности уже не представлял.

Шумная слава Ильи Сельвинского возникла в двадцатые годы, когда он был еще совсем молод. И все же большую часть своей жизни поэт прожил фактически в опале, хотя прошел путь, богатый славными событиями.

Юношей он попал на гражданскую войну. Этот физически могучий молодой человек работал на цирковой арене как профессиональный борец под псевдонимом Георг Лурих Третий. Первый Георг Лурих был чемпионом мира, неоднократно встречался на ковче с Иваном Поддубным.

Сельвинский сменил много профессий. Был он корабельным юнгой, тренером по тяжелой атлетике, специалистом по пушнине. Отсюда и роман «Пушторг».

Он исколесил всю Россию как журналист и охотник, участвовал в знаменитом полярном походе на ледоколе «Челюскин», стал знаменитым поэтом и драматургом, лидером авангардного литературного течения конструктивистов, куда входили значительные литераторы: Владимир Луговской, Эдуард Багрицкий, Николай Ушаков, Вера Инбер, Николай Панов, известный под псевдонимом Дир Туманный.

О популярности Ильи Сельвинского в то время, пожалуй, лучше других сказал Эдуард Багрицкий:

*А в походной сумке –
Спички и табак.
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...*

Эти стихи написаны во времена революционной романтики, дань которой отдал и Сельвинский.

История не подтвердила правоту тех идей и не оправдала те надежды, но так сложилось, что будучи художником ярким, вопреки своей воле объективно выразившим трагическую эпоху, Сельвинский во многом опередил эстетические «находки» идущих следом и может оказаться современником нынешнего поколения, которое в силу неисповедимости тайных пружин общественного мнения и вкуса не имеет представления о его поэзии, либо имеет о ней превратные суждения.

Станислав Айдинян

Под крылом пепельного ангела

Лия Либерова – создатель библиотеки фантазмагорических романов. Высказывалось мнение, что эти книги относятся к жанру фэнтези, но это не так. Фэнтези не предполагает столь полную и порой экстремальную, неподотчетную свободу потока сознания. Компас направления – рождение прихотливо сплетенных образов, истекающих и воспаряющих, исходящих один из другого. Сложная и прихотливая, эстетически оснащенная вязь. Королевство бессознательного открывает свои двери...

Жрица-создательница романа «Пепельный ангел»* играет на струнах времени, изгибает пространство, она знает, что «время было вереском», она подглядывает за Стеклянным Пауком, выброшенным к ее берегам морским прибором, го-нимым бризом.

Паук оберегал следы Бога, точнее искал и находил их, чтобы оберегать. То, к чему близко подходит Лия Либерова, это эпическая тональность. И начинает создаваться ее *космогония*: оказывается, Стеклянный Паук застлал Землю покрывалом воздуха, потом покрывалом моря, потом покрывалом леса, потом покрывалом покрывал. То есть запредельным существом – Стеклянным Пауком была воссоздана – по воле автора – стихия воздуха, стихия воды, стихия растительно-

* Издан в Москве в издательстве «Известия». – С.А.

го царства. Молчанием обойдена только стихия огня. Самое емкое тут понятие «Покрывало покрывал» – эта незримая оболочка, незримый ореол живых существ – то, что в эзотерических учениях Европы называется эфирным телом, в рериховской традиции – «тонким телом».

Вскоре после смерти невидимое тонкое тело покидает физический двойник и тело лишается формы... Вот что здесь угадано, что здесь читается и прочитывается.

В человеке с развитой душой – богатая образность, спускающаяся в текст из тотемических слоев, снов, эйдосов подсознания, невольно формализует эпико-мифологические тайны Вселенной...

Паук находит следы Бога за покрывалом стихий – растительной, водной, земной. И никого туда не пускает, то есть следы Бога, его велений, им, Пауком, собраны и похищены! Покрывала разорвались и развеялись по воздуху!

И когда Паук строит из следов-кирпичиков стеклянную башню – начинается уже не эпико-мифологический, а сюрреалистический экстерьер прозы. «Башня. Часы следов», в которой хранятся следы Бога.

Особая составляющая образа – стеклянность, прозрачность. Чудо, как и предвидение, по природе своей прозрачны! Символична насыпаемая Пауком пирамида, которую он составляет из черепков-оттисков, чтобы слиться с небом. Ему удастся возвыситься до неба, потому что ледяные черепки, обвитые им по миллиону раз – это отпечатки следов Бога, которые теперь заключены в Башню Часов, то есть во вселенский сосуд Времени. Следы Бога осознаются во времени...

Паук спрятал следы, сам спрятался в облаках, следы Бога исчезли с Земли и – как говорит писательница, – «никто и никогда точно не знает, куда надо идти» – это, действительно, трагедия, когда потеряны ориентиры, а человечеству хотелось бы идти, ступая след в след за Богом. Идти по его следам, чтобы не ошибаться, все хотели бы торного пути...

Но на то и есть Паук (или Змей!..) чтобы, идя путем свободной воли, человек сам нашел к Богу правильный путь, и

все-таки нам подвластны лишь поиски следов Бога – предание о Нем в священных текстах... Снег, холод которые даны здесь как фон, естественны, потому что души людей неищущих, не знающих, куда идти, занесены «снегом» пустых будней...

Конечно, можно пожалеть о несовпадении времени автора со временем Сальвадора Дали, который мог бы совершенно оригинально нарисовать все то, что сюжетно в романе составляет всего лишь его первую повествовательную страницу.

Вспоминается Наполеон Первый, с его знаменитым афоризмом – «Воображение правит миром!». Надо только, чтобы воображение было пущено вскачь! Лия не боится, когда даже камни сыпятся из-под копыт, и, фигурально выражаясь, Росинант сменяет под ней Буцефала... и из хрустальных дворцов освобождающий поток выносит ее прямо в Авгиевы конюшни...

Удивительная тбилисская художница Гаяне Хачатрян рассказывает в фильме, посвященном ее творчеству о том, что в детстве у нее была шкатулка-коробочка, в пустое дно которой она смотрела как в магическое зеркало, и ее воображение дарило ей целый театр, и она не ходила в настоящий театр, боясь утратить театр своего детского воображения...

Здесь внутреннее сходство с Лией – она тоже имеет незримый ларчик, с ее личным вензелем на крышке – ларец ее воображения... И нам видится, что открывается он музыкальным ключом!

У Лии Либеровой, ученицы крупнейшего педагога-пианиста Генриха Густавовича Нейгауза, проза никак не может не быть музыкальной! Только реминисценция ведет не к романтичному Шопену, это, скорее импрессионистичный Равель или Дебюсси, а временами даже Шнитке, пустившийся в импровизацию с Губайдуллиной в подвале разрушенной во время четвертой мировой войны консерватории!.. Образы – а то и тени образов у Лии поют, то и дело занимаются звукоизвлечением, звукоиздаванием, и, как она сама пишет, «они знают ноты, такты, длительности»...

Есть подозрение, что ее верлибры, стихотворения в прозе, богато введенные в текст книги, есть верлибровое продолжение формы сюиты, введенной в русское стихосложение поэтом-розенкрейцером Борисом Зубакиным в начале XX века. Преемственность вполне возможна.

И еще о «генеральной» обобщающей черте самой ткани романа: «Пепельный ангел» – при всей его пунктирной, нечеткой, скрытой сюжетности, *исключительно кинематографичен*. Эта проза легко могла бы в руках талантливого режиссера преобразоваться в режиссерский киносценарий...

Это подспудно или даже явственно чувствует и автор, когда вдруг у нее внезапно вырывается: «время начинать съемку – Кадр первый»... Лия выражает желание, чтобы съемка шла без дублей. Ставить такой роман-сценарий можно только и исключительно динамично, ибо сам роман насыщен энергией динамизма.

Пусть образы ее порой не столь вняты, как хотелось бы реалистам многих времен и народов. Однако я знаю, точнее «нам ведомо», кто из кинорежиссеров мог бы воплотить увиденное на дне мистико-сюрреалистической шкатулки Лии Либеровой...

Во-первых, это, конечно, один из лучших режиссеров-создателей «художественно заряженной атмосферы», Сергей Параджанов. Его «Цвет граната» тому порукой...(В скобках заметим, что Параджанов был другом вышеупомянутой художницы Гаяне Хачатрян).

Или постановщиком мог бы стать наш современник, режиссер-фантазмагорист, строитель бесконечных галерей эстетически заостренных образов, удивительный художник кадра, Питер Гринуэй, создатель «Книг Просперо»... Он смог бы высесть искру из текста так, чтобы текст не задымил, но запылал на экране...

Им обоим, Параджанову и Гринуэю, мог бы быть близок столь *анархо-сюрреалистический, одновременно символический материал*. Их не испугало бы присутствие в романе Ангелов, извлечения из их дневников, как и откровения самого легендарного доктора Фауста...

Дневник же другого персонажа, постоянного действующего лица, доктора Феста, напротив, содержит модернистские эротические моменты наряду с рассуждениями о Деянии, разлитом во всем сущем и Аполлоническом начале... Это уже напоминает нам несколько «укрупненные» мотивы из «Степного волка» Германа Гессе, или фантазии Селина...

Особенно звучны строки из дневника ангела Михаэля, цитирующего документ братства розенкрейцеров, «Фама Фратернатис», где говорится о «благости и милосердии Бога» и о том, что «...эгоизм и алчность могут привести людей к ложным пророкам и ценностям и отвратить их от подлинного Знания Природы, которая открывается только чистым сердцам, жаждущим Познания, и Господь откроет скрижали своих истин «стучащимся» и им будет открыто и дано знание, дарованное Господом».

Этот отрывок дает отнесение от «Пепельного ангела» к «Огненному Ангелу» Валерия Брюсова, который был не только известен Лии Либеровой, но в определенной и начальной мере вдохновил ее начать свой новый роман...

Когда автор описывает попытку «перевернуть энергетику стихийного ряда элементов», то мы оказываемся в лаборатории алхимика, однако алхимик это современный, судя по тому, что имеет дело с «энергосущностями А2, Б2, К2»... Подобные образы, конечно, перекочевали в прозу Лии из читанных ею в давние времена научно-фантастических романов. Но на то он и анархический роман-фантазмагория, чтобы, подобно черной дыре во Вселенной, поглощать разные веяния и стилевые течения, не говоря о жанрах, чьи границы, понятно, расплывчаты...

Одно можно сказать определенно: Лия не любит диалогов в романах, в большой прозе у нее они почти не встречаются. Видно она воспринимает все ей созданное в романе, состоящем из разнородных частей, как большое целое, и диалоги, возможно, противоречили бы этой цельности, хотя и это спорно. Все в литературе, в сущности, спорно... Как и то, что диалоги, возможно, больше украсили бы роман, чем стихи.

Однако выскажем о парадоксальном романе парадоксальный взгляд – восприятие либеровской прозы прямо и определенно зависит от количества раз прочтения – интеллектуальная проза предполагает не только качественно вдумчивое, но и количественно неоднократное прочтение.

Дело в том, что нужно *обволочь собою* эти сложные много-смысловые строки, как Стекланный Паук, который, по словам Лии, «обвивал каждый след по миллиону раз», чтобы проникнуться подлинно сокровенным, порой и неявно выраженным духом и смыслом.

Это как читать «Стихотворения и поэмы» Бориса Пастернака, изданные в шестьдесят первом году – именно тот подбор кажется и странным и прихотливо-косноязычным, но если прочесть несколько раз, смысл и кантилена стиха проявляется как на детской переводной картинке, но все же порой остается замутненным, понятным, думается, лишь автору, или душе, сходной по звучанию, или даже конгениальной душе поэта.

В заключение не откажем себе в удовольствии привести слова талантливого поэта и писателя, литературного критика и путешественника Александра Сенкевича, сказанные по поводу книги Лии «Голубятня Бога»:

«Как бы то ни было, Лию Либерову интересуют прежде всего видения прошлого и будущего, даже если это миражи, отшлифованные зноем рефлексии. У нее какое-то болезненное тяготение к древности и к Космосу, который соединяет и уравнивает в вечности жизнь и смерть, вчера и завтра, время и пространство. Вместе с тем мистицизм Лии Либеровой очень посторонний, очень здешний, основательно укорененный в событиях и явлениях повседневной жизни. Она плетет переменчивое кружево из нитей горестного размышления о тщете бытия и радостного ощущения творческого начала в человеке».

Коротко об авторах

А й д и н я н Станислав Артурович родился в 1958 году в Москве, в семье известного певца, Народного артиста Артура Айдиняна.

Окончил филологический факультет Ереванского университета. Одновременно учился искусствоведению в Государственном педагогическом институте иностранных языков имени В. Брюсова.

С 1975 года печатается в периодических изданиях как художественный критик, публицист, писатель...

С 1984 по 1993 был литературным редактором и секретарем А. И. Цветаевой. Составитель, автор вступительных статей ко многим прижизненным и посмертным ее книгам и публикациям в периодической печати.

Одновременно занимается популяризацией современной живописи. Научный сотрудник и член совета Дома-музея Марины Цветаевой.

Член Союза российских писателей. Автор книг художественной прозы – «Подслушанный Фауст» (1993) с послесловием Ю. В. Мамлеева, «Атлантический перстень» (1994) с предисловием А. И. Цветаевой, сборников стихов «Скалы» (1995), «С душой побыть наедине» (2002) и других.

Составитель и редактор литературно-художественной антологии «Одесские страницы».

Живет в Москве.

В № 185 (1998) опубликована «Божественная комедия» Данте Алигьери (Ад) в переводе Ст. А. и в № 189 (1999) рецензия на книгу Л. Либеровой «Голубятня Бога и другое»; в № 221 «В ореоле памяти: Константин Бальмонт» и в № 223 рецензия на книгу А. И. Цветаевой «История одного путешествия».

А р б у з о в а Наталья Ильинична родилась и выросла в Москве.

Окончила механико-математический факультет Московского Государственного университета имени Ломоносова.

Математик, профессор, кандидат физико-математических наук.

Проза Н. А. печаталась в журналах «Дружба народов», «Литературная учеба», в альманахе «Дворянское собрание» и других периодических изданиях.

Автор двух книг: «Пока дают сказать» и «Город с названием Ковров-Самолетов», вышедшей совсем недавно – в 2008 году (изд-во «Время»).

Член Союза писателей Москвы.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Д з а н с л о в Виктор Назирович, профессиональный музыкант, композитор и певец.

Родился в 1957 году в городе Тирасполе Молдавской ССР. Большую часть жизни прожил в подмосковных Люберцах.

Выпускник дневного отделения Московского института управления им. С. Орджоникидзе (1979 г.).

Со временем оставил первоначальную специальность и стал артистом. Работал в различных музыкальных коллективах. Преподавал классическую гитару.

В 1988 году окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности эстрадное пение. Несколько лет проработал в Московской областной филармонии в качестве ведущего программ рок-музыки. С началом «перестройки» увлекся классической музыкой Индии. Играл на ситаре в индийском ресторане «Дели».

В 1992–1996 годах побывал в США, Швейцарии и Франции на гастролях. Был уличным музыкантом.

Автор песен на стихи поэтов русской эмиграции первой волны. Увидели свет следующие альбомы: «Белая лира» (1999 г.), «На поле чести» (2000 г.), «На волне русской эмиграции» (2001 г.), «О любви, которой больше нет» (2002 г.), «По странам рассеяния» (2003 г.), «Сияющее дуновение» (2005 г.), «Русская поэзия. XX век. Антология» (2005 г.).

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Ж и р м у н с к а я Тамара Александровна – современная писательница, автор десяти книг, вышедших в Москве, среди кото-

рых сборники лирических стихов «Район моей любви», «Забота», «Нрав», «Праздник» и другие.

Ее избранные стихи, мемуарная проза и повесть «Вместе со светом» вошли в книгу «Короткая пробежка» (2001).

Недавняя работа Т. Ж. – беседы о Библии и русской поэзии за три века: «Ум ищет Божества» (2006).

Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра.

Лауреат премии Союза писателей «Венец» в номинации поэзия.

Живет в Мюнхене (Германия).

В ГРАНЯХ (№ 215) опубликовано ее литературное эссе «Дальние и ближние голоса», в № 227 «Мы – счастливые люди» – воспоминания о писателе Юрии Казакове.

Крячко Борис Юлианович родился в селе Красная Яруга Курской области в 1930 году.

Он был человеком классически образованным – окончил филологический факультет романского отделения Ростовского университета, хотя зарабатывать на жизнь приходилось «прикладными» профессиями – судоремонтником, истопником.

Впервые как самобытный русский писатель заявил о себе в начале восьмидесятых в Германии, где в ГРАНЯХ была опубликована его повесть «Битые собаки». Московские друзья через немецких туристов переслали фото пленку с текстом, подписанным «Андрей Койтс».

В Эстонии, где писатель прожил последние двадцать пять лет (он ушел от нас в 1998 году) «Битые собаки» в начале перестройки издали отдельной книгой. В России, где только начинают узнавать творчество Б. К., в журнале «Дружба народов» (№ 1, 2000) опубликована повесть «Края далекие, места – люди нездешние».

Биографическую прозу «Язык мой..» (№212) передал в журнал писатель Александр Зорин (См. публикацию в № 210 «Нестандартная фигура. Борис Крячко в письмах и воспоминаниях»).

В ГРАНЯХ №218 опубликована повесть Б. К. «Концерт для скрипки».

Недзвецкая Татьяна Ивановна, родилась в Воркуте в 1957 году.

Впечатление, что парадоксы биографии, по ее признанию, наложили отпечаток и на ее творчество.

Прадеда раскулачили в Сибири, в Хакасии, семью пустили по миру с протянутой рукой, выгнав из дома с двенадцатью детьми.

Позднее и деда сослали в лагерь, как сына раскулаченного, где он и погиб неизвестно при каких обстоятельствах, как и когда. Родной отец, бросивший их с матерью, когда Татьяне было пять лет, служил охранником в лагере. А отчим, который воспитывал ее, сидел в лагерях по 58 статье за «антисоветскую пропаганду».

Закончила школу в маленьком провинциальном городе Вязьма, куда родители переехали из Воркуты.

После окончания в 1975 работала в Москве по «лимиту».

Через год поступила в Московский строительный институт – МИСИ.

После окончания института работала в строительной организации, а уже в 1985 поступила во ВГИК на сценарный факультет и одновременно в Литературный институт им. Горького. Во время учебы вышел ее первый поэтический сборник «Босой мой след».

В 2008 вышел сборник ее стихотворений «На белой штукатурке» в издательстве «Вагриус».

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Н и к о л а е в Владимир Дмитриевич (1925–2008) родился в Москве.

В 1941–1946 годах служил в Военно-Морском Флоте.

Окончил факультет журналистики Московского университета.

Корреспондентом журнала «Огонек» объездил полмира, несколько раз путешествовал по Соединенным Штатам Америки.

Автор трех десятков публицистических книг, из них – двадцать две об американцах и их повседневной жизни.

Его книга «Американцы» дважды выходила в издательстве «Советский писатель», переведена на несколько языков, в том числе на английский.

В 2002 году вышла книга В. Н. «Сталин, Гитлер и мы». В ней говорится о некоем мистическом родстве между диктаторами. В 2005 году издательство «Терра» выпустило эту книгу со значительными дополнениями.

В 2007 году в издательстве ЭНАС вышла итоговая книга В. Н. «Красное самоубийство».

В ГРАНЯХ (№ 217) опубликована его рецензия «Любовь и память» на книгу А. М. Славуцкой «Всё, что было...». В №№ 225, 226 – документальная повесть «Сталинский лицей», в № 227 – «Война» и в № 228 «Открытие Америки».

Ревич Александр Михайлович родился в 1921 году, в городе Ростове-на-Дону, там же окончил среднюю школу.

В июне 1941 после военного училища попал на фронт. Испытал тяжесть отступления, именуемое в Отечественную войну «отходом». Затем плен. Снова участвовал в боях (в штрафном батальоне тоже), а затем в сражении под Сталинградом. Награжден тремя боевыми орденами.

После окончания войны учился на историческом факультете Московского университета, позднее в Литературном институте имени Горького.

По его окончанию занимался переводами и долго писал «в стол».

Автор книг: «След огня», «Единство времени», «Поэмы», «Говорят поля», «Чаша»; избранного сборника «Дарованные дни» и других.

За перевод книги стихотворений французского поэта Теодора Агриппы'Добинье удостоин Государственной премии России за 1998 год.

Член Союза писателей.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ в № 223 опубликованы его литературные портреты: «Арсений Тарковский, Борис Пастернак, Юрий Казаков» и в № 225 «Поэма о том времени» и «Поэма о ковчеге».

Селисский Александр Самуилович родился в Киеве в 1931 году. Образование – театроведческое.

Эмигрировал в Израиль в 1993.

Публикации: сборник прозы «Поймать муху», роман «Трофим и Изольда», стихи – «Мы плывем на корабле». Участвовал в сборниках – «Кармель литературный», «Антология поэзии», «Сто двадцать поэтов русскоязычного Израиля».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Урушев Дмитрий Александрович родился в 1975 году в Москве.

В 2001 году окончил Российский государственный гуманитарный университет. Историк-религиовед, член Союза журналистов России.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

Хитцер Фридрих (1935–2007) – писатель, публицист, общественный деятель, переводчик на немецкий русской художественной литературы (Чингиз Айтматов и другие).

Основатель клуба Александра Герцена в Мюнхене.
В ГРАНЯХ печатается впервые.

Ч у б а й с Игорь Борисович родился в Берлине в 1947 году.

В 1972 – закончил философский факультет Ленинградского университета, в 1978 – аспирантуру Института социологии АН СССР в Москве, защитил кандидатскую диссертацию о польской социологии телевидения.

1980–1997 – доцент кафедры философии ГИТИСа.

1987–1991 – активист и один из лидеров гражданского демократического движения, инициатор перехода к многопартийности через создание Демократической платформы и раскол КПСС. В это же время год работал в ФРГ на радиостанции «Свобода».

С 1992 года сфера научных интересов – россиеведение, российская идентичность.

В 1996 в Москве вышла книга «От русской идеи – к идее новой России». Эта работа победила на конкурсе Гарвардского университета как лучшее исследование о русской идее. В 1998 монография переведена и издана в США.

В тот же год он создает Центр по изучению России Университета дружбы народов, является профессором-директором Центра.

В 2000 – защитил докторскую диссертацию «Идейно-идентификационная основа российского общества и государства», в которой впервые представил научное решение проблемы российской национальной идеи.

В 2004 году руководимая И.Ч. группа авторов опубликовала учебник для старших классов «Отечественное», по которому обучаются школьники 40 школ Калининградской области.

В 2005 вышло два издания монографии «Разгаданная Россия. Что же будет с Родиной и с нами. *Опыт философской публицистики*». Награждена премией «Словесность» Союза литераторов Российской Федерации.

В 2006–2007 годах – ведущий программ радио «Говорит Москва».

И.Ч. – автор более двухсот научных публикаций, более ста из них – по россиеведческой тематике. Работы, доклады, интервью опубликованы в США, ФРГ, Великобритании, Франции, Индии, Польше, Словении, Словакии и в других странах.

Живет в Москве.

В ГРАНЯХ печатается впервые.

*Читайте
в следующем номере:*

Эмил ДИМИТРОВ
Возможен ли русский Сорос?

Александр ГОРЯНИН
Две России

Алексей ПЯТКОВСКИЙ –
Александр ДАНИЭЛЬ
Воспоминания о Самиздате

Осип ЦАДКИН – Ариадна ЧЕМЕСОВА
«Заколдованный цветок папоротника»...

и другие материалы

О Б Р А Щ Е Н И Е

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров – порой с риском для жизни тех, кто это делал, – пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои – увы! – часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ – знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время и с к л ю ч и т е л ь н о н а с р е д с т в а з а р у б е ж н ы х п о д п и с ч и к о в .

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2009 году от Р.Х.

За 2008 год вышли №№ 225, 226, 227 и 228, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER–SUR–MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru
wickuz@orexovo.net**

Принимаем заявки на подписку 2009 и 2010 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

Ассоциация «ГРАНИ»
L'association «GRANI»
De l'association n w751170197
Paris

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Оригинал-макет – Елены Метченко

Подписано в печать . Формат 84 × 108 ¹/₃₂.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. . Усл. кр.-отг. . Уч.-изд. л.

Тираж . Заказ № .

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».

Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.

Тел.: 936-83-28.

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ - 2009.
№229, №230, №231 и №232**

**Для оформления подписки,
писем и сообщений:**

**GRANI
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE
CEDEX 94431
FRANCE**

Представители:

РОССИЯ Т. Jilkina
17, Milashenkova str., app. 61
127322, Moscow
E-mail: grani.08@mail.ru

АМЕРИКА К. Troosh
600 Fiftn Ave
San Francisco CA 94118
E-mail: katia@katias.com

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте журнал ГРАНИ
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

*Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.*

*Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.*

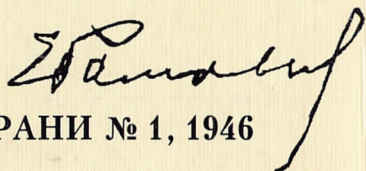
*Каждый человек –
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть –
совершенствуется целое.*

*Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.*

*А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.*

*В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, –
Слову Правды.*

*Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.*



ГРАНИ № 1, 1946